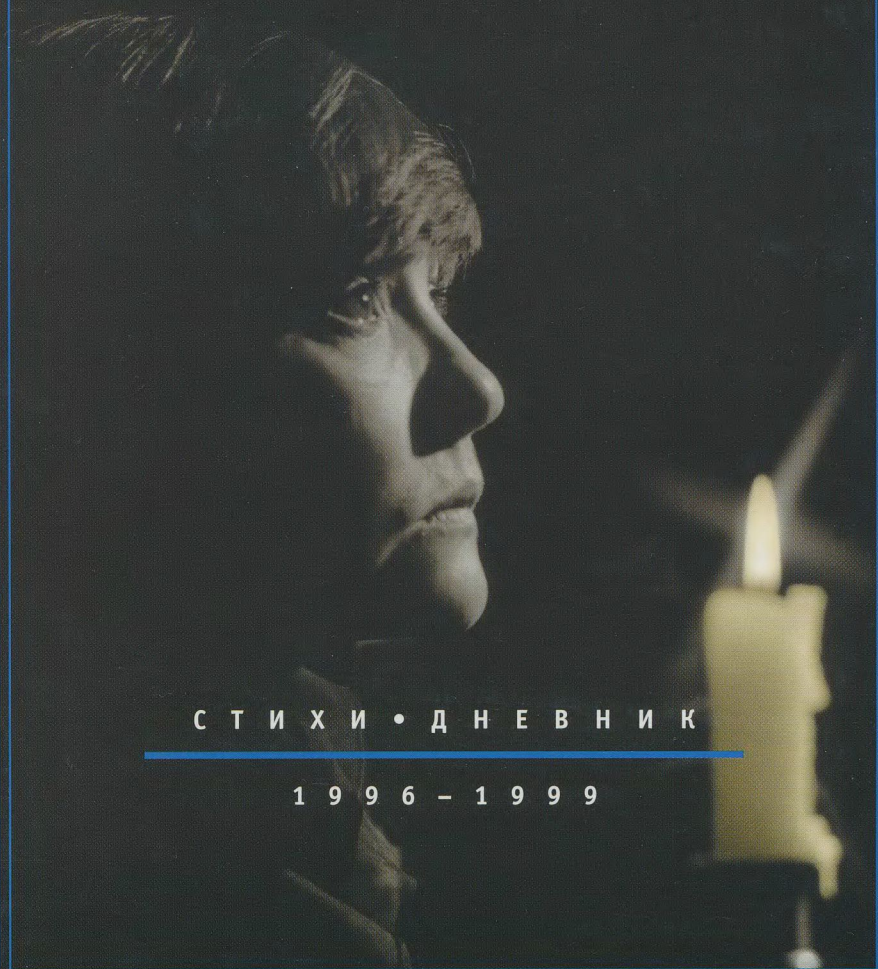


Белла Ахмадулина • НЕЧАЯНИЕ

Белла Ахмадулина

НЕЧАЯНИЕ



СТИХИ • ДНЕВНИК

1996 – 1999

Белла
Ахмадулина

НЕЧАЯНИЕ

СТИХИ • ДНЕВНИК

Белла Ахмадулина

Н Е Ч А Я Н И Е

С Т И Х И • Д Н Е В Н И К

1996–1999

« П О Д К О В А »

М О С К В А

2 0 0 0

Белла Ахмадулина

Нечаяние

МОСКВА

Издательский Дом «Подкова»,

2000. — 232 с.

*В этот сборник Беллы Ахмадулиной
вошли стихи, написанные
в период с 1996 по 1999 годы,
а также дневниковые записи*

ISBN 5-89517-090-0

Издание осуществлено
при участии «Б.С.Г.-ПРЕСС»

© Б.Ахмадулина, 2000

© Издательский Дом «Подкова», 2000

© Д.Ершов, оформление, 2000

19 октября



Осенний день, особый день —
былого дня неточный слепок.
Разор деревьев, раздор людей
так ярки, словно напоследок.

Опальный Пасынок аллея,
на площадь сосланный Страстную, —
суров. Вблизи — молодой атлет
вкушает вывеску съестную.

Живая проголодь права.
Книгочий изнурен тоскою.
Я неприкаянно брела,
бульвару подчинясь Тверскому.

Гостинцем выпечки летел
лист, павший с клена, с жара-пыла.
Не восхвалить ли мой Лицей?
В нем столько молодости было!

Останется сей храм наук,
наполненный гурьбой задорной,
из страшных герценовских мук
последнюю и смехотворной.

Здесь неокрепшие умы
такой воспитывал Куницын,
что пасмурный румянец мглы
льнул метой оспы к юным лицам.

Предсмертный огонь окна светил,
и переделкинский изгнанник
простил ученикам своим
измены роковой экзамен.

Где мальчик, чей триумф-провал
услужливо в погибель вырос?
Такую подлость затевал,
а малости вина — не вынес.

Совпали мы во дне земном,
одной питаемые кашей,
одним пытаемые злом,
чье лакомство снесет не каждый.

Поверженный в забытый прах,
Сибири свежий уроженец,
ты простодушной жертвой пал
чужих веленьиц и решеньиц.

Прости меня, за то прости,
что уцелела я невольно,
что я весьма или почти
жива и пред тобой виновна.

Наставник вздоров и забав —
ухмылка пасти нездоровой,
чьему железу — по зубам
нетвердый твой орех кедровый.

Нас нянчили надзор и сыск,
и в том я праведно виновна,
что, восприняв ученья смысл,
я упаслась от гувернера.

Заблудший недоученик,
я, самодельно и вслепую,
во лбу желала учинить
пядь своедумную седьмую.

За это — в близкий час ночной
перо поведает странице,
как грустно был проведен мной
страдалец, погребенный в Ницце.

19 октября 1996

Фазилто Искандеру

Согласьем розных одиночеств
составлен дружба уклад.
И славно, и не надо новшеств
новой, чем сад и листопад.

Цветет и зябнет увяданье.
Деревьев прибылен урон.
На с Кем-то тайное свиданье
опять мой весь октябрь уйдет.

Его присутствие в природе
наглядней смыслов и примет.
Я на балконе — на перроне
разлуки с Днем: отбыл, померк.

День девятнадцатый, октябрьский,
печально-щедрый добродей,
отличен силой и окраской
от всех ему не равных дней.

Припек остуды: роза блекнет.
Балкона ледовит причал.
Прощайте, Пущин, Кюхельбекер,
прекрасный Дельвинг мой, прощай!

И Ты... Но нет, так страшно близок
ко мне Ты прежде не бывал.
Смеется надо мною призрак:
подкравшийся Тверской бульвар.

Там дома двадцать пятый номер
меня тоскою донимал:
зловеще бледен, ярко нуден,
двояк и дик, как диамат.

Издевка моего лица
пошла мне впрок, все — не беда,
когда бы девочка Лизетта
со мной так схожа не была.

Я, с дальнозоркого балкона,
смотрю с усталой высоты
в уроки времени былого,
чья давность — старее, чем Ты.

Жива в плечах прямая сажень:
к ним многолетье снизошло.
Твоим ровесником оставшись,
была б истрачена на что?

На всплески рук, на блески сцены,
на луч и лики мне в лицо,
на вздор неодолимой схемы...
Коль это — все, зачем мне все?

Но было, было: буря с мглою,
с румяною зарей восток,
цветок, преподносимый мною
стихотворению «Цветок»,

хребет, подверженный ознобу,
когда в иных мирах гулял
меж теменем и меж звездою
прозрачный перпендикуляр.

Вот он — исторгнут из жаровен
подвижных полушарий двух,
как бы спасаемый жонглером
почти предмет: искомый звук.

Иль так: рассчитан точным зодчим
отпор ветрам и ветеркам,
и поведенья позвоночник
блюсти обязан вертикаль.

Но можно, в честь Пизанской башни,
чьим креном мучим род людской,
клониться к пятистопной блажи
ночь напролет и день-деньской.

Ночь совладеет с днем коротким.
Вдруг, насылая гнев и гнет,
потемки, где сокрыт католик,
крестом пометил гугенот?

Лиловым сумраком аббатства
прикинулся наш двор на миг.
Сомкнулись жадные объятья
раздумья вкруг друзей моих.

Для совершенства дня благого,
покуда свет не оскудел,
надземней моего балкона
внизу проходит Искандер.

Фазиля детский смех восславить
успеть бы! День, повремени.
И нечего к строке добавить:
«Бог помочь вам, друзья мои!»

Весь мой октябрь иссякнет скоро,
часы, с их здравомыслием споря,
на час назад перевели.
Ты, одинокий вождь простора,
бульвара во главе Тверского,
и в Парке, с томиком Парни,
прости быстротекучесть слова,
прерви медлительность экспромта,
спать благосклонно повели...

19 и в ночь на 27 октября 1996

Борису Мессереру

Я собиралась в город ехать,
но все вперялись глаз и лоб
в окно, где увяданья ветхость
само сюжет и переплет.

О чем шуршит интрига блеска?
Каким обречь ее словам?
На пальцы пав пыльцой обреза,
что держит взаперти сафьян?

Мне в город надобно, — но втуне,
за краем книги золотым,
вникаю в листовенной латуни
непостижимую латынь.

Окна усидчивый читатель,
слежу вокабул письменна,
но сердца брат и обитатель
торопит и зовет меня.

Там — дом-артист нескладно статен
и переулков приворот
издревле славит Хлеб и Скатерть
по усмотренью Поваров.

Возлюблен мной и зарифмован,
знать резвость грубую ленив,
союз мольберта с граммофоном
надменно непоколебим.

При нем крамольно чистых пиршеств
не по усам струился мед...
...Сад сам себя творит и пишет,
извне отринув натюрморт.

Сочтет ли сад природой мертвой,
снаружи заглянув в стекло,
собрание рухляди аморфной
и нерадивое стило?

Поеду, право. Пушкин милый,
все Ты, все жар Твоих чернил!
Опять красу поры унылой
Ты самовластно учинил.

Пока никчемному поселку
даруешь злато и багрец,
что к Твоему добавит слову
тетради узник и беглец?

Вот разве что: у нас в селенье,
хоть улицы весьма важней,
проулок имени Сирени
перечит именам вождей.

Мы — из Мичуринца, где листья
в дым обращает садовод.
Нам Переделкино — столица.
Там — ярче и хмельней народ.

О недороде огорода
пекутся честные сердца.
Мне не страшна запретность входа:
собачья стража — мне сестра.

За это прозвищем «не наши»
я не была уязвлена.
Сметливо-кротко, не однажды
я в их владения звана.

День осени не сродствен злобе.
Вотще охоч до перемен
рожденный в городе Козлове
таинственный эксперимент.

Люблю: с оградой бодаясь,
привет козы меня узнал.
Ба! Я же в город собиралась!
Придвинься, Киевский вокзал!

Ни с места он... Строптив и бурен
талант козы — коз помню всех.
Как пахнет яблоком! Как Бунин
«прелестную козу» воспел.

Но я — на станцию, я — мимо
угодий, пасек, погребов.
Жаль, электричка отменима,
что вольной ей до поваров?

Парижский поезд мимолетный,
гнушаясь мною, здраво прав,
оставшись россыпью мелодий
в уме, вспомнившем Пиаф.

Что ум еще в себе имеет?
Я в город ехать собралась.
С пейзажа, что уже темнеет,
мой натюрморт не сводит глаз.

Сосед мой, он отторгнут мною.
Я саду льщу, я к саду льну.
Скользит октябрь, гоним зимою,
румяный, по младому льду.

Опомнилась руки повадка.
Зрачок устал в дозоре лба.
Та, что должна быть глуповата,
пусть будет, если не глупа.

Луны усилилось значение
в окне, в окраине угла.
Ловлю луча пересечение
со струйкой дыма и ума,

пославшего из недр затылка
благожелательный пунктир.
Растратчик: детская копилка —
все получил, за что платил.

Спит садовод. Корпит ботаник,
влеком Сиреневым Вождем.
А сердца брат и обитатель
взглянул в окно и в дверь вошел.

Душа — надземно, надоконно —
примерилась пребыть не здесь,
отведав воли и покоя,
чья сумма — счастье и есть.

Ночь на 27 октября 1996

Закат дымами шевелит.
Стареет год, вчера лишь новый.
Над фабрикою «Большевик»
висит румянец нездоровый.

Корпит кирпичный храм сластен,
пресытив рты, измазав щеки
детей чей диатез влюблен
в красу фольги, в улады елки.

Где выдох приторный трубы
и всех меньшинств и кислорода —
соперник, несколько, увы,
подташнивает пешехода.

Но любит он, какой ни есть,
свой праздник. Все неповторимо:
он сам, хоть он слегка нетрезв,
и фабрики угрюмой имя,
и весь район, где Правды в честь
зовется улица игриво.

2 января 1997

Вацлаву Нижинскому

Стоял туман, в котором слепнет посох
и лиходея вязнет вялый нож.
Восставшая, прочна на ощупь плоскость,
скрывающая: день она иль ночь.

Вот было что: ничто не наступило
или ничто настало — что за ним.
Растяпа-плотник не подвел стропила
под небосвод, опавший на залив.

Вчера был вторник, люди говорили.
Как разберусь с бездненья чередой?
Пожалуй, так: мы вторника руины
возьмем себе и наречем средой.

Схитрим и по невидимому следу
войдем в четверг и утро обновим.
Мрак откликаться не желал на «среду»:
не помещался в схему аноним.

Мой домик малый был в незримость замкнут.
В условном замке всякий свет погас.
И только кот дремотно-зорким зраком
разумно тратил фосфора запас.

Я знала: электричество стропливо,
за что его и невзлюбил ремонт.
Я, вчуже: сколько времени? — спросила
у явного отсутствия времен.

Будильник мой давно был невменяем
и жил по усмотрению своему.
Его могла б я обойти вниманьем,
но вздорным звоном он вредил уму.

Вдруг оживился телефон разбитый —
соперник сьединенья голосов.
Предмет, воображенье поразивший,
удостоверил: ровно ноль часов.

И впредь, не опасаясь повториться,
он охранял незыблемость ноля.
Рассудок — сам затворник и темница —
стал намекать, что вождь его — не я.

Бубнил, что тем и этим полушарьем
он криво сгорблен и стеснен весьма,
но одолеет должным прилежаньем
двумерное узилище ума.

Что он клаустрофобии недугом
давно казним, что мне его не жаль:
я не слежу за сквозняком, надувшим
в отверстие слуха вредоносный жар.

Мне нравилась бунтовщика повадка —
пусть прочь идет, взяв заячий тулуп,
тем боле что должна быть глуповата
та, в честь которой он бывал не глуп.

Мой посторонний разум самовольно
вита, не сжатый ни в каких тисках.
Я принялась за чтение Сименона,
свечи огарок чудом отыскав.

Что я теперь? Его же измышление
и, стало быть, не измышлять вольна.
Что может быть отрадней и свежее
морщиною не раненного лба?

А то — в себя, словно в глухой колодец,
гляжу, покуда глаз не изнемог,
и встречно смотрит изнутри уродец —
раденьем тщетным изнуренный мозг.

Что, кстати, с ним, промозглость обнажившим?
(Кот дыбил шерсть на говорливый жар.)
Ах, вот что: он поверженным Нижинским
в лечебнице себя воображал.

Он осмелял докучливую просьбу
опомниться: ничто не устрасит
умеющего превратиться в розу,
чей стебель сломлен и кровоточит.

Ничтожна новых прорастаний робость,
их неукложью не тягаться с ним.
Та, для кого он принял розы образ,
пусть без видений в старом кресле спит.

Я стала привыкать к его капризам,
и, даже если бред его правдив,
растения страдающего призрак —
родим и здесь пребудет невредим.

Да, угодил он из огня в полымя.
Я — не в себе, он — не во мне, но где?
Его бессвязных вымыслов поимка
была моим занятием в темноте.

Таких примерно: ...Близится премьера.
Восхода выход — траурный дебют.
Рот мертвой розы говорит про небо,
что небо — труб и кочегаров труд.
Душе угодно, чтоб, взлетев, померкла.
Но выпорх крыл добудут и добьют
алмаза сглаз, в петлице бутоньерка.
— В шлафрок одет и в шлепанцы обут,
ты кто таков? Вот ложка и тарелка.
Звон оловянный — к завтраку зовут.
— Но завтрак — завтра? Где же взять терпенья,
столь нужного для достижения утр?

Когда больных тревожили звонком,
дабы прервать глотком или зевком
их пренья и паренья исступленья,
Карсавиной к нему склонились перья.
Ей подвиг — слезы скрыть — не удавался.
Она его звала, как прежде: Ваца...
Не видели, чтоб он разволновался.
Он объявил, что с нею незнаком.

Он продолжал: что проку сыпать бисер
в бинокль, в лорнет, в монокль на желваке.
Поступок мышц, всевластных и всебыстрых,
закручен в узел в плоском животе.
Как распрямить несбывшийся избыток
согбленных сил зародыша в желтке.
Прыжок возбранный сам себя превысил:
клад облака остался на щеке.
Ум одолел: он действие приблизил
к черте, которой нет в простом житье.
Что делать дале любопытным линзам?
Нет зрителей у главного жетте.

Он прикорнул, устав от монолога.
Себя он розой ощущал неловко.
Нет, он себя не знал немолодого.
Он слишком молод, только слишком долго.

Виденье он, которое не в силах
все время знать, как мучится душа.
— А все же где Карсавина? — спросил он.
Ему сказали, что она ушла.

Меж тем с меня тянули одеяло.
Сияло так, что — не стерпеть со сна.
Ко мне пришла сестра-хозяйка Алла,
всех сущих здесь хозяйка и сестра.

Сказала Алла: — Спите больно сильно.
Я всполошилась: спят мои да спят.
— А много ль нас? — в тревоге я спросила.
— Премного: вы и кот-розовопят.

Уж Алла чай по чашкам разливала.
Кот думал: надо ль покидать диван.
Давненько я кота подозревала
в заумственных и хитростных делах.

Кот Васька был заметная персона.
Никто не знал, о чем он помышлял.
Кот, мною почитаемый особо,
был к людям строг и терпелив к мышам.

— Скажите, Алла, нынче день недели
какой? И не было ли безымянных дней? —
Она смеялась: — Вы в своем уме ли?
— Не думаю, — я отвечала ей.

— А правда ль, что стоял туман великий
и всей округой нашей завладел
и снег, с небес невиданно валивший,
морочил и сбивал с пути людей?

— Да нет, слегка туманилась погода,
собрался, да не сбился снегопад.
Сейчас — тепло. Для лыжного похода
из школы отпустили всех ребят.

Пойду. А вы не захворали часом?
Вы с Васькой не рассиживайтесь тут.
От дома далеко не отлучайтесь.
Пора, однако: к завтраку зовут.

Но вот что было странно и не просто:
передо мною, на краю стола,
горючая горячечная роза
стояла скорбно в зелени стекла.

Я вышла. Отрясая снег с лопаты,
румяный дворник мрачно произнес:
— Ни выюга, ни туман не виноваты.
Возвел на них напраслину прогноз.

Пес ради шутки на кота бросался.
Вмешался дворник: — Цыц! Нишкни, борзой. —
Ни в чем не виноватое пространство
в глазах стояло прочною слезой.

В ресницах с нерастаявшей снежинкой
народ вокруг смеялся и сновал.
Я думала: как тосковал Нижинский,
как тосковал, как страшно тосковал.

Февраль 1997

Борису Мессереру

Я с Елкой бедною прощаюсь:
ты отцвела, ты отгуляла.
Осталась детских щек прыщавость
от пряников и шоколада.
Вино привычно обмануло
полночной убылью предчувствий.
На лампу смотрит слабоумно
возглавля полумесяц узкий.
Я не стыжусь отверстой вести:
пера приволье простодушно.
Все грустно, хитроумно если,
и скушно, если дошло, ушло.
Пусть мученик правописанья,
лишь глуповатости ученый,
вздохнет на улице — бесправно
в честь «правды» чьей-то нареченной.
Смиренна новогодья осыпь.
Пасть праздника — люта, коварна.
В ней кротко сгинул Дед-Морозик,
содеянный из шоколада.
Родитель плоти обреченной —
кондитер фабрики соседней
(по кличке «Большевик»), и оный
удачлив: плод усердий съеден.
Хоть из съедобных он игрушек,
нужна немалая отвага,
чтоб в сердце сходство обнаружить
с раскаяньем антропофага.

Злодейство облегчив оглаской,
и в прочих прегрешеньях каюсь,
но на меня глядят с опаской
и всякий дед, и Санта-Клаус.
Я и сама остерегаюсь
уст, шоколадом обогранных,
обязанных воспеть сохранность
сокровищ всех, чей царь — ребенок.
Рта ненасытные потемки
предам — пусть мимолетной — славе.
А тут еще изгнание Елки,
худой и нищей, в ссылку свалки.
Давно ль доверчивому древу
преподносили ожерелья,
не упредив лесную деву,
что дали поносить на время.
Отобраны пустой коробкой
ее убора безделушки.
Но доживет ли год короткий
до следующей до пирушки?
Ужасен был останков вынос,
круг соглядатаев собравший.
Свершив столь мрачную повинность,
как быть при детях и собаках?
Их хоровод вокруг злых поступков
состарит ясных глаз наивность.
Мне остается взор потупить
и шапку на глаза надвинуть.
Пресытив погребальный ящик
для мусора, для сбора дани
с округи, крах звезды блестящей
стал прахом, равным прочей дряни.
Прощай, навек прощай. Пора уж.
Иголки выметает веник.

Задумчив или всепрощающ
родитель жертвы — отчий ельник.
Чтоб ни обертки, ни окурка,
чтоб в праздник больше ни ногою —
была погублена фигурка,
форсившая цветной фольгой.
Ошибся лакомка, желая
забыть о будущем и бывшем.
Тень Елки, призрачно-живая,
приснится другом разлюбившим.
Сам спящий — в сновиденье станет
той, что взашей прогнали, Елкой.
Прости, вечнозеленый странник,
препятствуй грезе огнеокой.
Сон наказующий — разумен.
Ужели голос мой пригубит
воплъ хора: он меня разлюбит.
Нет, он меня любил и любит.
Рождественским неведом елям
гнев мести, несовместный с верой.
Дождусь ли? Вербным Воскресеньем
склонюсь пред елью, рядом с вербой.
Возрадуюсь началу шишек:
росткам, неопытно зеленым.
Подлесок сам меня отыщет,
спасет его исторгшим лоном.
Дождаться проще и короче
Дня, что не зря зовут Прощеным.
Есть место, где заходит в рощи
гость-хвоя по своим расчетам.
На милость ельника надеюсь,
на осмотрительность лесничих.
А дале — Чистый Понедельник,
пост праведников, прибыль нищих.

А дале, выше — благоустье
оповещения: — Воскресе!
Ты, о котором сон, дождусь ли?
Дождись, пребудь, стань прочен, если...
что — не скажу. Я усмехнулась —
уж сказано: не мной, Другою.
Вновь — неправдоподобность улиц
гудит, перечая шин угону..
У этих строк один читатель:
сам автор, чьи темны намеки.
Татарин, эй, побывши татем,
окстись, очнись, забудь о Елке.
Автомобильных стонов бредни...
Не нужно Елке слов излишних —
за то, что не хожу к обедне,
что шоколадных чуд — язычник.

Февраль-март 1997

Наслаждение в Куоккале



*Ты ему: ближе к делу,
а он – про козу белу.*

Поговорка

I. *Синяя арка*

Когда Кoryтов арку возводил
(детдом ему отец, а мать — лихо),
мне арки цвет иль действия светил
навязывали имя Метерлинка.

С Кoryтовым нас коротко свело
родство и сходство наших рукоделий,
и без утайки, каждый про свое
мы толковали на задах котельной.

Мое занятие не давалось мне.
Кoryтову противилась пластмасса.
Рассвет синел в моем пустом окне.
В худом ведерке синий цвет плескался.

Какой триумф желали увенчать
Кoryтов — аркой, брэнной и фатальной,
а я — издельем вымысла в ночах, —
для нас обоих оставалось тайной.

На кухне незлобивый пересуд
решал: зачем с Кoryтовым мы дружим?
Но арки — не всемирны ли абсурд,
всех съединивший слабым полукружьем?

Перо не шло, Кобытов кисть ронял,
и, наблюдая исподволь за нами,
в игру вступали флейта и рояль —
в том доме обитали музыканты.

Заслышав их, являлась мысль уму:
мираж не затруднителен, не так ли?
Разъятому и сирому всему
не в тягость будут своды синей арки.

И, может быть, немало бесприютств
утешатся под призрачным покровом.
Перо воспишет, звуки воспоют,
лоб озарится измышленьем новым.

Был остов арки бледен и раним,
чем умилял смешливую окрестность.
Пока, пожалуй, только Метерлинк
решился заглянуть в ее отверстость.

Пока Кобытов занят был трудом,
я шла гулять. Уже залива всплески
твердели. Рядом громоздился дом —
ровесник, кстати, знаменитой пьесы.

Синей синиц не обитало птиц
поблизости. Но птица флюгер-символ,
воссевшая на деревянный шпиг, —
поскрипывала, отливая синим.

В осьмом году построен для усадьбы,
охотничий до гостей и фейерверков,
дом-старец превратился в детский сад,
эпохи гнев стерпел и опровергнул.

В былые дни — какие кружева
вверх-вниз неслись по лестницам парадным?
Какая жизнь предсмертно здесь жила
при играх бриза с флюгером пернатым?

Залив держал Кронштадт над синевой.
Цвела витражных стекол филигранность.
Пил кофе на террасе Сапунов,
вещуны-гущи не остерегаясь.

Еще четыре года у него
до дня, когда Блок отвечал так строго.
Пока ладью во мглу не унесло,
четыре года — как огромно много.

Я жадно озидала скромный миг,
чьи продолженья скрытны и незримы,
на что и намекал не напрямик
дом, обращенный в бедные руины.

Стыл детский сад, покинутый детьми.
В угожьях слез наследством населенных,
Фирс-Насморк брел средь беспризорной тьмы —
изгой-избранник алых носоглоток.

Я удивлялась прибыли тоски,
игрушку позабытую всего лишь
заметив (здесь, в строке, — укус осы
и перерыв, оброненный совочек).

Утрату детской ручки описать
не удалось: поры предзимней дивность —
оса, со сна проведав слово «сад»,
над вздутием кисти пристально трудилась.

Рука опухла. День клонил ко сну.
Строку б исправить — да оса мешала.
Не прогнала я острую осу —
как вспылчивый привет от Мандельштама.

Явившийся из отчужденных звезд,
отринул все, что знаю и рифмую, —
«Вооруженный зреньем узких ос,
сосущих ось земную, ось земную...»

Я погасила лампу и спала,
диктант нездешний записав в тетрадке.
Откуда бы ни донеслись слова,
я их сочла наитьем синей арки.

...С утра Корытов, отрицавший власть,
схватился с бригадиром-моралистом.
Туманилась и распадалась связь
строенья с непричастным Метерлинком.

Мы оба были с ним посрамлены.
Чурались букв строптивые страницы.
Корытов красил синим валуны —
со зла иль в честь недостижимой птицы.

Пока на арку тратилась казна
и брег залива становился синим,
мою судьбу возглавила Коза,
весьма ее возвысив и усилив.

II. *Отступление о Козе*

Всем известно уже: это было, когда
строил синюю арку Корытов.

На крыльце на моем возбелела Коза,
с грязью долгих дорог на копытах.

Увидав, каковы ее стать и краса,
сочинители музык вскричали:
— Все мы — слуги твои! Князь над нами, Коза!
Не оставь нас в беде и печали.

Нам наскучил бемоль, нам диез надоел,
мы к ногам твоим сложим клавиры.
Но капуста тебе не грозит недоед
и достанет десертной ковриги.

Стал блистателен день, стали люди не злы,
все исполнилось музыки дивной.
Есть у Бунина образ подобной козы,
изумительной и трагедийной.

На крыльце полнолунно мерцала Коза,
но порой, по прибрежной дороге,
отражая закат, несказанно красна,
шла со мною Коза в Териоки.

Одинаковы были у нас имена:
удручен синевою производства,
если зодчий Кобытов окликнет меня —
для начала Коза отзовется.

Разъяренный, явился начальник Козы:
привязал ее к велосипеду
и повлек в направлении домашней грозы,
но не смог поборот непоседу.

Вновь Коза на моем утвердилась крыльце.
Сник хозяин ее одичавший.

Спать ложилась Коза, и, созвучно Козе,
сотрясался мой домик дощатый.

Становилась Корытова арка синей.
Снег был ранен сугробами марта.
Мы бродили под аркой с Козою моей,
как заблудшие призраки МХАТа.

Наш с Козою союз всем на радость крепчал
но ученое сердце предзнало,
что любовь непреложно венчает печаль:
сборы, сумерки, запах вокзала.

Нрав Козы стал злокознен и рог не ленив.
Безутешно вспомню сегодня,
как прощалась с брадатостью козых ланит
и с талантом ее своеволья.

Был ужасен отъезд, разрывающий нас.
Вечно быть мне пред ней виноватой.
Горе жизни моей – вопрошающий глаз,
перламутровый, продолговатый.

Я, расплакавшись, ехала в Зеленогорск.
Козья прыть догоняла автобус.
В скорый поезд пускать не дозволено коз.
Так кончается грустная повесть.

III. *Наслаждения в Куоккале*

Вот мимо хвойных дюн и хмуро-хворых здравниц,
блистая и смеясь, летит беспечный гость.
Куоккале моей не чужд сей чужестранец,
но супится вослед ему Зеленогорск.

Народец наш не зол, не то ему завидно,
что путник здоров умом, пригож, богат, любим.
Обидно, что не зря он мчится вдоль залива.
Мы ж попусту стоим и на замок глядим.

Его влечет бокал с напитком можжевельным.
Соломинку возьмет хозяин финских вод.
А тут измучен ум сомнением ежедневным:
то ль вовсе нет ее, то ль кончится вот-вот.

Потупится пред ним угодливость балета.
Нам это — тьфу! У нас — свое па-де-труа.
Кленовый лист за ним взметнулся раболепно.
Я этот лист потом в грязи подобрала.

За быстролетность миль унылость верст тягучих
он держит... — Не замок загадочен, а то,
что продавец — внутри, и с нею Колька-грузчик.
— Какой? — Коляй с бельмом, с наколкой «Бельмондо».

Чу! До-диез стекла и тремоло кларнета
(Стравинский). Милый яд — вот льется, вот замолк.
Там самобранный стол накрыт на два куверта.
— Открой! — Еще чего! — отвечает замок.

— Знай, Клавка: этот миг, когда ни с чем ушли мы,
еще припомнишь ты, варимая смолой!
Опрятные крыла вдоль родины-чужбины
влекущей, поспедай в град, не скажу: какой.

Град, не скажу: какой, у сердца есть сноровка
во сторону твою отсель глядеть с тоской.
Меж мною и тобой в чем сила приворота?
Мне с ней не совладать, град, не скажу: какой.

Я расточаю дни на вольные хождения,
их цель сокрыта в них, пока брожу окрест.
Но все ж и у меня свои есть наслаждения.
Да, наслаждения есть. Вот скромный их реестр.

IV. *Домик*

Влиятельных вблизи дизелов и неврозоз,
чьи зябкие крыла летают налегке,
люблю мой кроткий герб, мой слабоумный розан —
в обоях на стене и в ситце на окне.

Живу себе, привет нехитрого дизайна
доверчиво приняв и пылко возлюбив.
Давно меня страшат дерзанья, притязанья.
А мой цветочек — ал, убог и незлобив.

Навряд ли мой сюжет покажется кому-то
заманчивым, но я считаю за триумф,
что птичьей толчеей наполнена кормушка.
(Клянется кот, что он — не зряч, не востроух.)

Прилягу на диван — кот мне на грудь ложится,
целебно усмирив тахикардийный бег,
как если бы на нас не зарилась ошибка
сварливых новостей и неизбывных бед.

Круг кошек здесь широк и в дружестве не робок.
Пристрастья их сердец прочны и не просты.
Их путь сокрыт в снегу, зато поверх сугробов
возводят вертикаль и движутся хвосты.

«До» — «ми», рояль, где «ре»? Потеряно, продуту,
утрачено тройной трепещущей трубой.

Водопровода трюк: утробное профундо.
До-мик, на миг я спасена тобой.

Свет лампы возожжен. Сокрытый смысл нашептан.
В два цвета Дебюсси — черно-бело в окне.
Дарован домик мне, как если бы Нащокин
был милостив ко мне. Точнее: и ко мне...

V. *Ветреная осень*

Стояла осень счастья моего,
верней — неслась, нас к северу сдувало:
купальщиков, которым море — по
колено, — с моря, лежебок — с дивана,
и Репино о скалы Монрепо
разбилось бы, но руки воздевала
подвижница Музея, небосклон
моля, чтоб раритеты не рассеял.
Клин экскурсантов, дик и невесом,
к надземным приноравливался сферам.
Сам знаменитый самобранный стол
возглавил вихрь, влекущий нас на север.
Стол-сумасброд, что потчевал невроз
элиты видом бысролетной снеди,
на этот раз с народом жил не врозь
и родственно вращался в лад со всеми.
Гуськом стоявший, взмыл Зеленогорск —
об очереди спорили соседи.
В условиях неба очередь важна
для упасенья сирой единицы.
В земной зиме в нее водворена
промозглость наша, как в пары теплицы.
Нестройность стаи опекла она
умом периодической таблицы.

Полета вождь — сотрудница «Пенат»
изрядно знала репинскую тему.
Купальщик моря кротко ей пенял,
что не натурщик он и зябко телу,
да и в Музее он не мог понять
жить в здоровом хладе Репина затею.
По счастью, встречный ветер налетел.
В надежде, что прилавок одолеем,
снижались мы все круче и смелей.
Встав в очередь, теснима единеньем,
вновь в должном месте я, как элемент
в системе, что содеял Менделеев.
Котомку отворив, невдалеке,
не чуждый общих чаяний корыстных,
с высокомерной тайною в лице,
нас, усмехаясь, озирает Корытов.
«Эх, времена!» — он думал, как и все,
мне не доверив помыслов сокрытых.

VI. *Светает*

Седьмой в исходе час, и можно обозреть
согласье меж окном и синим томом Блока.
Извне глядит рассвет на милый образец:
не слишком ли сине? а так — не слишком блекло?

Лилового чуть-чуть добавить ли? Скорей!
Срок малый отведен для сотворенья месив.
Вот для чего со мной пришелица — сирень
персидская, и с ней помолвлен полумесяц.

Махровой гущины высокородна спесь,
и солнце, припоздав, ее не одолело.
Дом с башней за окном еще не зрим, но есть:
шпиль разрывает мрак, как при грозе в Толедо.

Луч желтый привнесен в угрюмую зарю.
В избытке цвета нет излишка и огеа.
На сбывшийся рассвет устало я смотрю —
как бы на свой шедевр задумчивый Эль Греко.

VII. *Окрестности*

Где имени старухи Изергиль
дворец воздвигнут пышно-худосочный,
люблю бродить. Не вовсе извратил
Палладио заветов буйный зодчий,
но скромность кватроченто превзошел,
ей навязав барочные ужимки.
Догодкой созерцатель поражен
и восклицает: — Я не на чужбине,
не близ Виченцы! — Где же? — Где-то здесь,
где надобно, в округе анонимной.
— Зачем же, в паллий невпопад одет,
стоит певец старухи знаменитой?
И гипсу зябко в этакую стынь.
Больное изваяние согрето
моей привычкой сообщаться с ним —
вблизи залива, да, но не в Сорренто.
Строение возведено давно
для утомленных членов профсоюза.
Их отдых скуп: кино-и домино,
тайком — вино. Все кротко, простодушно.
Но есть и клуб для маленьких торжеств:
обнимка танцев улаждает будни.
В название клуба: красной краской в жель —
уныло вписан мрачный вестник бури.
Присутствует лечебница — она
сама хворает в стылых коридорах.
Сердешная, она наречена
в честь Данко, так придумал кардиолог.

Но, зная, устройство наше таково:
все к сердцу припеклось и приболело.
Мое в залив глядящее окно
уверено, что вперилось в Палермо.
Дух итальяйский — не новинка здесь.
Да, Рима нет, но это поправимо.
Неподалеку санаторий есть,
зывается он: «Джузеппе ди Марино».
Я думаю порой: кто сей морской?
Душою мягок и в сужденьях резок,
любил ли граппу? Мучимый тоской,
должно быть, о всеобщем счастье грезил?
Что ж, он отчасти своего достиг.
Прислуга санатория сварлива,
но жалостлива к жажде душ простых
в буфете у Джузеппе выпить пива.
Добившись утешительных глотков,
уст благодарность прямо говорила:
— Хоть мы не знаем, кто он был таков,
но в чем-то прав Джузеппе ди Марино. —
Брожу средь перелесков и лощин.
Ко мне привык люд местный и приезжий.
Иду домой и вижу, снег лежит
на синей арке, несколько осевшей.
Все в радость мне: и веник на крыльце,
и домика возлюбленная малость,
и снег, что тает на моем лице,
прохладен, как новехонькая младость.

VIII. *Поездка в Зеленогорск*

На остановке собрался народ.
Его возбуждает дорога.
Автобусы следуют в Зеленогорск,
их два, но замешкались оба.

Собравшийся в школу, скажи, педагог:
как выбрать точнее и тоньше?
Мне двести одиннадцатый подойдет,
но двести двенадцатый тоже.

Приблизились вместе, и тесно уже
калошам, заплатам, прорехам.
Мне двести одиннадцатый по душе —
как будто в нем Питер приехал.

Не весь и не сам, но послал, сколько мог,
даров: за чугунной решеткой
видение сада и Аничков мост,
в стекле лобовом отраженный.

Но мне — пятьдесят километров всего
до них, если ехать обратно.
Меж тем над заливом совсем рассвело.
Автобус до цели добрался.

По Зеленогорску неспешно хожу
вдоль луж и асфальтовых кочек.
Заветный мой град в отдаленье держу
и рыбу скупаю для кошек.

В киоске воды попросила стакан
с гостинцем Полюстрова скушным.
Казалось: какой-то другой истукан
стоял, озирался и слушал.

И кто он — не знал ни один документ.
Во лбу расплылось и погасло.
Всего-то спросили его: — Вы за кем? —
а он отвечать испугался.

Хотел оттеснить его рыбный отдел,
да заступилась кассирша.
Милиции глаз на него поглядел —
не зло, просто так покосился.

Уборщица, с рыбьим борясь серебром,
прошла, чешую выметая,
и продавщица, взмахнув топором,
порушила глыбу минтая.

Тому, кем я стала, казались страшны
от рубки озябшие руки.
Он тупо уставился в рыбы зрачки,
закрытые наледью муки.

Да кто он такой — этот пришлый чужак,
залетная сирая птица?
И где его холодный подвал иль чердак,
где он без прописки ютится?

Иль спит он тайком под вокзальной скамьей,
обманщик законов и правил?
Он изгнан с работы, отвергнут семьей
и алиментов не платит.

Зачем он направился в универмаг?
Приказчик был сух и надменен,
когда он бессвязно его уверял,
что сделать покупку намерен,

а именно: пуговицу приобрести
желает он — время настало.
Просимое выдал ему продавец,
что было любезно и странно.

Румяная тетка смеялась над ним,
мальчонку пожарче закутав:
— Вот это обнова! — Он ей пояснил:
— Еще и не то мы закупим.

В толкучке, видать, полегчало локтям:
он вел себя вольно, речисто.
Рояль он оглядывал, «Красный Октябрь»,
но тронуть его не решился.

Ему перерыв на обед помешал.
Добычливой публикой сдавлен,
он вышел. Нечаянно он помышлял
о граде печальном недалеком.

В пятидесяти километрах всего...
Не слишком ли дерзко, что — рядом?
Свободою: медлить — мосты развело
меж градом, столь близким, и взглядом.

Он вышел. Не вовсе он был нелюдим:
сплотились мы и не расстались.
Мне стало заметно, что мною любим —
мною бывший отчасти — скиталец.

Присвоенный образ прижился ко мне.
Пространных снегов обитатель,
я — ровня всем сущим на этой земле
и пуговицы обладатель.

А что до туманов моей головы, —
погодой ободрены зимней,
в очередях, в толчее голытьбы,
они — многодумней и зримей.

Удача поездки моей — не мала,
юдоль отвергаю иную.
— Здорово! — Кoryтов окликнул меня.
Мы с ним завернули в пивную.

А там — доставало услад и прикрас,
в дыму вдохновенье витало.
Кoryтов же был в телогрейке — как раз
ей пуговицы не хватало.

Сгодился подарок, какой-никакой,
для пущей красоты телогрея.
Вдруг мной овладел совершенный покой —
впервые за долгое время.

Жаль — надобно на остановку идти.
Что ж, наши поклажи не тяжки.
Нам двести одиннадцатый по пути
и двести двенадцатый также.

Автобус удобен, помимо всего,
и тем, что внушает автобус
к случайным соседям любовь и родство
и к добрым деяньям готовность.

Ум кошек явлению рыбы внимал.
Гуляла метель по равнинам.
С Кoryтовым мы разошлись по домам.
А пуговицу — уронил он.

Декабрь 1996

Глубокий обморок



Как если бы добрейший доктор Боткин
и обо мне заранее сожалел,
предавшись Солдатёнова заботам,
очнулся жизни новичок-жилец.

Занесся мозг в незнаемых потемках.
Его надменный, замкнутый тайник
вернул великосердый Солдатёнков
в свои уголья — из своих иных.

Все тот же он: доукою почета,
тщетою хвалы поныне не влеком,
коль так же он о бедняках печется,
душе его есть воздыхать о ком.

Как, впрочем, знать? В тех нетях, где была я,
на что семь суток извели врачи,
нет никого. Там не было Булата.
Повелевает тайна тайн: молчи!

Пульт вен и пульсов все смешал, все спутал.
В двух полушарий холм или проем
пытался вникнуть грамотей-компьютер —
двугорбие дурачилось при нем.

Возглавье плоти, гость загадки вечной,
живет вблизи, как нелюдим-сосед,
многоученый, вежливый с невеждой,
в заочье глядя, словно мне вослед.

Его попытка затесаться в луны —
примерка? примирения пример?
Ему вторженья в глушь небес не любы.
Он выше был. Он изучил предмет.

Не ровня мы. Он истязаньем занят:
внушать вискам неравновесья крен.
Он прав. На грех делиться крайним знаньем
запрет наложен, страшно молвить: Кем.

Мозг — не сообщник помыслов о мозге.
Ниспосланную покидать кровать —
чрезмерно, как вздыматься на подмости
иль в браконьерах Марса пребывать.

Заняты уст — то пища, то зевота.
Но им неймется, им препона есть
обмолвиться, как высший миг зовется:
стерпеть придется, но нельзя воспеть.

Бел белый свет. Бела моя палата.
Темнеет лоб, пустынен и угрюм.
Чтоб написать: «...должна быть глуповата»,
как должен быть здоров и строен ум.

Мой — не таков. Неодолимой порче
подверг мой разум сглаз ворожей.
Но слышится: а ты пиши попроще.
...И дух смиренья в сердце оживи...

Когда о Битове... (в строку вступает флейта)
я помышляю... (контрабас) — когда...
Здесь пауза: оставлена для Фета
отверстого рояля нагота...

Когда мне Битов, стало быть, все время...
(возбредил Бриттен, чей возбранен ритм
строке, взят до-диез неверно,
но прав) — когда мне Битов говорит

о Пушкине... (не надобно органа,
он Битову обмолвиться не даст
тем словом, чья опека и охрана
надежней, чем Жуковский и Данзас) —

Сам Пушкин... (полюбовная беседа
двух скрипок) весел, в узкий круг вошел.
Над первой скрипкой реет прядь Башмета,
удел второй пусть предрешит Башмет.

Когда со мной... (двоится ран избыток:
вонзилась в слух и в пол виолончель) —
когда со мной застолье делит Битов,
весь Пушкин — наш, и более ничей.

Нет, Битов, нет, достанет всем ревнивцам
щедрот, добытых алчностью ума.
Стенает альт. Неможется ресницам.
Лик бледен, как (вновь пауза) луна.

Младой и дерзкий опущу эпитет.
Сверг вьюгу звуков гений «динь-динь-динь».
Согласье слез и вымысла опишет
(все стихло) Битов. Только он один.

Прочла я бредни об отлучке мозга.
(Исподтишка мозг осмелял листок.)
Где бы мое отсутствие ни мерзло,
вновь бытия порозовел восток.

Никчемен мой исповедальный опус:
и слог соврал, и почерк косолап.
Что он проник в запретной бездны пропасть —
пусть полагает храбрый космонавт.

Какого знания мой взлет набрался,
где мертвенность каникул проводил, —
сокрыто. Не прощают панибратства
обочины созвездий и светил.

Добытое заумственным усилием
надзору высших сил не угодит.
Словам, какими преподобный Сирин
молился Богу, внял еще один —

любви всепоцелуйная идея,
зачем он так развязно не забыт?
Как страшно близок День его рождения!
Что оскорблен — ужасней, чем: убит.

«Пустынники и девы непорочны»
не отверзают попусту уста.
Их устыдась, хочу писать попроще,
предслыша, как поимка непростя.

В больничной койке, как в кроватке детской,
проснуться поздно, поглядеть в окно,
«Мороз и солнце, — молвить, — день чудесный»,
и засмеяться: съединил их кто —

не ведает девчонка-санитарка,
сама свежа, как солнце и мороз,
которые так щедро, так недавно
ей суждены надолго, но поврозь.

Солнцеморозным личиком любуясь,
читаю в нем доверье и вопрос.
Что плох мой стих — забуду, в нем забудусь,
как девочка, он беззащитно прост.

Лишь гению звериному не в новость
ничто не принимать за простоту:
и краткое забвение должно быть
настороже, на страже, на посту.

В целебном охранительном постое
жизнь тайно длит и нежит свой недуг.
Писать и знать: все прочее — пустое,
не спать в ночи, снотворный яд надув.

Еще меня ласкала белостенность,
сновал на белых крыльях персонал.
Как мне безгрешной радости хотелось!
Мне — долгий грех унынья предстоял.

В отлучке бывший — здесь он или там он,
зачем он мне? Скончанье дня отбив,
мороз — стал холод, солнце смерклось в траур.
Сердцебиенья и строки обрыв.

Галине Васильевне Старовойтовой

Вот так все было: как в поля и рощи
в больничный двор я отсылала взор,
писать желая простодушно-проще,
но затрудненье заключалось в том,

что разум истерзало измышление
о нем же — он иначе не умел.
Затылка сгусток, тягостный для шеи,
пустым трудом свой усложнял удел.

И слабый дар — сородственник провидцев,
мой — изнемог и вовсе стал незряч.
Над пропастью заманчивой повиснув,
как он посмел узнать, а не предзнать?

Нет, был в нем, был опаски быстрый промельк —
догадок подсознания поверх.
Мой организм — родня собакам — понял,
почуял знак, но нюх чутья отверг.

Отверг — и мысль не утемнила вечер,
когда висками стиснутый мотив
наружу рвался, понуканьем вещим
мой лоб не запрокинув для молитв.

Вдруг — сосланный в опалу телевизор
в стекле возжег потусторонний свет.
В нем — Петербург, подъезд, бесшумный выстрел.
Безмолвна смерть и громогласна весть.

Зрачков и мглы пустыня двуедина,
их засухе обычай слез претит.
Дитя и рыцарь мне была родима.
Сквозил меж нами нежности пунктир.

Мы виделись. Последний раз — в июне.
От многословья, от обилья лиц
мы, словно гимназистки, увильнули,
к досаде классной дамы — обнялись.

Рукопожатье и объятие — оцупь
добра и зла. Не спрошенный ответ
встревожит кожу, чей диагноз точен:
прозрачно-беззащитен человек.

Как близко то, что вдалеке искомо:
ладонь приветить и плечо задеть.
(Сколь часто обольстительна истома:
податель длани — не вполне злодей.)

Там, сторонясь лукавств и лакомств зала,
где обреченность праздновала власть,
она мне так по-девичьи сказала:
— Я вышла замуж... —
— Поздравляю Вас! —

Никчемной обойдась скороговоркой,
пригубила заздравное питье.
А надо бы вскричать: — Святой Георгий
(он там витал), оборони ее! —

По-девичьи сказала и смутилась.
С таким лицом идут в куртины, в сад.
В ней юная застенчивость светилась,
был робко ласков и доверчив взгляд.

Разросся миг: незвано и нехитро
глухой мне возмерещился уезд:
шаль потеплей и потемней накидка,
и поскорее — прочь из этих мест!

Тогда ли промельк над-сознания понял,
что страшно вживе зреть бессмертный дух?
Еще страшней, что счастье и подвиг —
и встретятся, да вместе не пойдут.

Подсказке упомянутой опаски
заране проболтаться было жаль.
С колечком обручальным — в лютой пасти
возможно ль долго ручку продержат?

Срок предрешенный загодя сосчитан.
Заманивать обжору калачом
иль охранять сверканьем беззащитно —
мишень зазывна, промах исключен.

Что с отомщеньем разминется нечисть —
мне скушно знать, не интересно знать.
Занятие и служба сердца — нежность,
ей недосуг возмездье призывать.

Июньский день любовью глаз окину
из пустоты моих декабрьских дней.
Услышит ли, когда ее окликну?
До сей поры я льну и лашусь к ней.

Смерть — торжеству собратна, соволашебна.
Избранника судьба не истекла.
Сюжет исполнен стройно, совершенно,
и завершен — как гения строка.

В году родившись роковым,
не ведает младенец скромный,
что урожденья приговор —
близнец и спутник даты скорбной.

Не все ли сделались мертвы,
не все ли разом овдовели,
пока справлял разбой молвы
столетний юбилей Дуэли?

Едва зрачок возголубел
дитяти розных одиночеств,
кто населяет колыбель —
уже разглядывал доносчик.

Сей дружелюбный душегуб —
всей жизни страж и раб послушный,
коль самого не пришибут
за леность иль на всякий случай.

Растет, глядит на белый свет
избранник ласки коммунальной.
Редает теснота соседств —
их поглощает мрак фатальный.

Гнушаясь дребезгом кастрюль,
в ту комнату, где жил покойник,
внедряет скрытный свой костюм
почти или уже полковник.

Война. Под вой сирены — бег
в аид убежища. Отлучка —
не навсегда ли? В новость бед
влачится холодная теплушка.

Дитя умрет. Его польют
живой водой, вернут обратно.
Над Красной площадью — салют.
Победа: слезы и объятия.

Все хорошо. Но пионер
измучен измышленным знанием
о том лишь, как страдает негр,
хлыстом плантатора терзаем.

Подросток впущен в комсомол.
Его созвездье — кроткий Овен,
но физкультурник-костолом
его к Бэ-Гэ-Тэ-О готовит.

Он не готов. Во тьме ночей
он призрак Вия видит в окнах.
Вот избиение врачей
на школьниц пало чернооких.

Все гуще, все мрачней сюжет,
его герой иль сочинитель —
должно быть, родом из существ,
кто иль злодей, иль небожитель?

Иль некто третий — кто он есть?
Его душа вздохнуть способна,
и высшей милостью небес
он уцелеет, он спасется.

Он помышляет об одном:
сокрывшись в тайных упоеньях,
как долго он живет в родном
краю убийц и убиенных.

Как много он извел свечей
тщетой полночного раденья,
с опаскою предзная: Чей
грядет двухсотый День рожденья.

Но сердце изнурять тоской
неутолимой, ежедневной —
зачем? Все сказано строкой,
воспевшей дуб уединенный...

“На свете счастья нет...”

Нет счастья одного — бывает счастлиих много.
Неграмотный, — вдруг прав туманный афоризм?
Что означаешь ты, беспечных уст обмолвка?
Открой свой тайный смысл, продлись, проговорись.

Опять, перо мое, темным-темно ты пишешь,
морочишь и гневишь безгрешную тетрадь.
В угодиях ночей мой разум дик и вспыльчив,
и дважды изнурен: сам жертва и тиран.

Пусть выведет строка, как чуткий конь сквозь выюгу,
не стану понукать, поводья опущу.
Конь — гением ноздри и мышц влеком к уюту
заветному. Куда усидчиво спешу?

Нет, это ночь спешит. Обмолвкою, уверткой
неужто обойдусь, воззрившись на свечу?
Вот — полночь. Вот — стремглав — час наступил четвертый.
В шестом часу пишу: довольно! спать хочу.

Сподвижник-кофеин мне шлет привет намека:
он презирает тех, кто завсегдатай снов.
...Нет счастья одного — бывает счастлиих много:
не лучшее ль из них сбывалось в шесть часов?

В Куоккале моей, где мой залив плескался
иль бледно леденел похолодания в честь,
был у меня сосед — зеленая пластмасса —
он кротко спал всю ночь и пробуждался в шесть.

В шесть без пяти минут включала я пригодность предмета — в дружбе быть. Спросонок поворчав, он исполнял свой долг, и Ленинграда голос: что — ровно шесть часов — меня оповещал.

Возглавие стола — возлюбленная лампа — вновь припекала лоб и черновик ночной. Кот глаз приоткрывал. И не было разлада меж лампой и душой, меж счастьем и мной.

За пристальным окном — темно, безлюдно, лунно, непрочной белизной очнуться мрак готов. Уж вдосталь, через край, — но счастье к счастью льнуло, и завтракать мы шли, сквозь сад, вдвоем с Котом.

Пригожа и свежа, нас привечала Нина. Съев кашу, хлеб и сыр я прятала в карман. Припасливость моя мелка, но объяснима: залив внимал моим карманным закромам.

Хоть знают, что приду, — во взбалмошной тревоге все чайки надо мной возреют, воскричат. Направо от меня — чуть брезжут Териоки, и прямо предо мной, через залив, — Кронштадт.

Я чайкам хлеб скормлю, смущаясь, что виновна пред ненасытной их и дерзкой белизной. Скосив зрачок ума, за мной следит ворона — ей не впервой следить и следовать за мной.

Встреч ритуал таков: вот-вот от смеха сникну... — Вороне как-то Бог... — нет, не могу, смеюсь, но продолжаю: — Бог послал кусочек сыру — и достигает сыр вороньих острых уст.

Налюбовавшись всласть ее громоздкой статью,
но всласть не угостив, скольжу домой по льду.
Есть в доме телефон. Прибавив счастье к счастью,
я говорю: — Люблю! — тому, кого люблю.

Уже роялей всех развеялась дремота.
Весь побережный дом — прилежный музыкант.
Сплошного — не дано, а кратких счастлих — много,
того, что — навсегда, не смею возалкать.

Так помышляла я на милом сердцу свете.
Согласно жили врозь настольный огонь и тьма.
Пока настороже живая мысль о смерти,
спешу благословить мгновенье бытия.

В Элладѣ рождена, в Калабрии жила,
где цитрусовых куш не ведают соцветья:
что значит: флердоранж? Афин ворожея
изгнаннице Афин не смела дать совета:

свечу души задуть, светильник не возжечь,
не искушать жрецов, проклятий не накликать.
Не Носидэ ль свечой очнулась вдруг вот здесь,
где принято ссылатъ в смерть иль в смертельный климат?

Тысячелетий срок для Носидэ моей
не слишком ли велик? Теплыни и чужбины
на хладном берегу двоюродных морей
легко ль тоску сносить? — О, лучше бы убили! —

так Носидэ грустит и видит ход ладей,
как вѣсть Эгейских вод, вдали белеет парус.
В папируса тайник, сокрытый от людей,
свирепых любопытств заглядывает праздность.

В убежище своем так тщательный моллюск
вотще спасает жизнь, столь нужную ему лишь.
Как жемчуга ловец, не я ль сейчас ломлюсь
в сокровища чужих и лакомых имуществ?

Долг Носидэ — иметь лишь песнопенье уст.
Мотив всегда один: — О, где моя Эллада!
Где тот, кто мной любим! Зачем мой челн так утл! —
Стенанье продолжать не смею, и не надо.

Мой простодушный грех свечою не прощен.
Склонив ее к воде, я пристально гадала:
в честь Носидэ зачем меня ласкал почет
в прельстительном краю, где Носидэ страдала.

Меж рознями времен мерцает связь родства:
и властелин гневлив, и пифии злорадны.
В Москве я родилась, в Москве произросла,
но бредит ум ночной, что изгнан из Эллады.

На родине моей я родину зову,
к ее былому льну неуголимым взором.
Там сорок сороков приветствуют зарю,
народ благочестив, и храм еще не взорван.

Как Носидэ во сне родную видит даль,
так я люблю гостить в открытке стародавней,
где нежиться дано моей до-жизни дням
в соседях с голубком над кружевною дамой:

уклончивой руки и влюбчивых усов
сусальная давно поблекла позолота.
Здесь неуместна весть Эгейских парусов,
и Носидэ моей свече не отзовется.

Что умыслом своим ваяет стеарин,
как Фидий повелел и возбранил Овидий?
Свеча, а не строка, иссякнув, сотворит
ей заданный урок, чей смысл не очевиден...

VIII — IX.
ПРОЩАНИЕ С КАПЕЛЬНИЦЕЙ.
ПОМЫШЛЕНИЕ О КИМРАХ

Была звана в Милан или в Париж —
уже не помню. Краткий Баден-Баден
мне предстоял. — Эй, что ты говоришь? —
вскричал далекий отрицатель басен.

Не взыщут пусть гордыни казино.
Обитель, что затеял Солдатёнков, —
с азартом измышлений заодно.
Мой выигрыш — трофей кровоподтеков.

Что делать, если вены таковы.
Стан капельницы — строен и забавен.
Вдали от суеты и толкотни
я пребываю. Чем не Баден-Баден?

Приют мой, впрочем, Боткинским зовут.
Его уклад навряд ли схож с курортом,
не знающим: как сладостно зевнуть
устам усталым в отдыхе коротком.

На воле жить — тяжеле и больней.
Вот — капельница надо мной склонилась.
Я возлежу и думаю о ней,
превозмогая лень и сонливость.

Она легко и ладно сложена
(Издалека на ум приходит Эйфель.)
Отведав смерти, внове я жива,
хоть смущена запретной тайны эхом.

О капельнице речь. Ее капель,
длясь, орошает слабые запястья.
Ее прохладе свойственно кипеть.
Чу! чем-то чуждым организм запасаю.

Так, прибыли заздравной не узнав,
я в строй сооружения вникала:
то мне оно казалось при усах,
то в белокурых локонах металла.

В Тарусе я дружила со столбом —
давно воспет и назван: «мой Пачёвский».
Теперь воззрилась слабоумным лбом
на механизм с усами иль прической.

Болезнь — для вольных вымыслов предлог.
Я с капельницей накрепко сдружилась.
Приму ее, когда она придет,
за существо, за родственную живность.

Одушевив предписанный прибор,
забыв пиров объятия и козни,
пьет плоть моя медлительный прибор
чего — не знаю, кажется — глюкозы.

Я прожила былые времена,
как обреченный гонщик мотоцикла.
Догнав меня, смиренную меня
прощает и лелеет медицина.

Любуясь апельсином, налитым
Италии теплом, затылок вспомнил:
чтоб ублажить целебную латынь,
плод, ей в утуду, не назвать ли: romum?

Помпезным словом плод за то хвалим,
что он питает зренья ненасытность.
Помнилось мне, что помыслам моим
откликнулся — и засмеялся цитрус.

Люблю мою со всем, что есть, игру
за тайный смысл, за кроткие приветы
намереню вонзить в меня иглу —
пусть нехотя ей поддаются вены.

Бег бодрой лени шаловлив и быстр.
Пока источник капель серебрится,
как просто: всех и поровну любить,
в чем много выгод и немало риска...

...Но вот что странно: умыслом каким
все сестры, все сиделки, санитарки,
как сговорившись, прибыли из Кимр.
Приятно, но загадочно, не так ли?

Старинный, досточтимый городок,
прилежный прихожанин и сапожник
привнес сюда особый говорок
и с милосердьем белизны сомножил.

Восславить Кимры мне давно пора.
Что я! — иные люди город знали:
он посещаем со времен Петра
царями и великими князьями.

Еще имевший звание села,
привык он к почитанию, к поклонам.
И вся Россия шла, плыла сюда,
и двигался из дальних стран паломник.

Две Тани, Надя, Лена — все из Кимр.
Вздор — помышлять о Крыме иль о Кипре.
Мы целый день о Кимрах говорим.
Столицей сердца воссияли Кимры.

Но ныне Кимры — Кимрам не чета.
Не благостны над Волгою закаты,
и кимрских жен послала нищета в Москву,
на ловлю нищенской зарплаты.

Безгрешный град был обречен грехам
нашествия, что разорит святыни.
Урод и хам взорвет Покровский храм,
и люто сгинет праведник в пустыне.

О капельнице речь. Я отвлеклась.
Знакомы с ней две Тани, Надя, Лена.
В подательницах пищи и лекарств
пригожесть Кимр спаслась и уцелела.

Я позабыть хотела, что больна,
но скорбь о Кимрах трудно в сердце прятать.
Кладбищенская церковь там была
и называлась: «Всех скорбящих радость».

В том месте — танцплощадка и горпарк,
ларек с гостинцем ядовитой смеси.
Топочущих на дедовских гробах
минуют ли проклятье и возмездье?

Начав за здоровье, вдруг за упокой
строка строке перечит, в даль ведома:
смешать в сусеке рифмы запасной
рододендрон с наитьем радедорма.

Незванный отошлю рододендрон
краям, изъятым из моих мечтаний.
На тумбочку положен радедорм
тайком меня перекрестившей Таней.

Больничная свобода велика:
как захочу — смеюсь или печалюсь.
Зачем я Кимры в бредни вовлекла?
Я с капельницей плачущей прощаюсь.

Сестер усталых светятся посты.
Прощание созвучно полонезу.
Я напоследок говорю: — Прости! —
постели, табуретке, полотенцу,

подушке мыслей и дремотных нег,
пустой тарелке с ротиш'а огрызком.
В мотиве слов двусмысленности нет,
они не виноваты пред Огиньским.

В ночи мой почерк прихотлив, заядл.
Но все-таки — какая одинокость:
«Скорбященским» кладбищем ум занять
и капельницы славить одноноготь.

Привыкнув жить внутри, а не вовне,
страшусь изведать обитаний разность.
Я засыпаю. Сплю уже. Во сне
ко мне нисходит «Всех скорбящих радость».

*Судьба моя, за то всегда
благодарю твой добрый гений,
что смеха детская звезда
живет во мгле твоих трагедий...*

Б.А.

*Я дорожу моим уединеньем,
к бумаге чаще, чем к подушке, льну,
услажена визитом ежедневным,
который я так молодо люблю.*

*Мне вчуже посетители иные,
все — вестники застенной суеты.
Скучает овощ, и цветы изныли,
хоть я прилежно пестую цветы.*

*Зачем дитя, корреспондент, малютка
с утра звонит: — Я нынче к вам приду, — ?
Так рвется гость в укрытие моллюска —
свежо и остро пахнет он во льду.*

*Виновна пред избранницей небесной
незваность шуток, столько болей средь.
Но чужаку не след якшаться с бездной,
где в пристальных соседях — жизнь и смерть.*

*Дик, в нетях сущих, помысел о славе.
Я прихожусь лишь Кимрам знатоком,
и жизнь сестер, что мне родимы стали,
бесслезно я оплакала тайком.*

Всем искренним упрекам и наемным
заране внемлю и не возражу.
Я, сострадая бедствиям народным,
в сторонней благодати возлежу.

Стыжусь, приемля милость, пищу, ласку,
пока невзгод события бурлят.
Но волоку ниспосланную лямку —
в незримость груза впрягшийся бурлак.

Пусть ноша бесполезна и ничтожна,
натружен ей радивый горб спины.
Кровать и жар светильника ночного
помещены среди большой страны.

Нужна ли Кимрам блажь ночных приветствий?
Негоже мне возмыть в чужую высь:
в палате, как в Карабихе прелестной,
вослед страдальцу: «Выйдь на Волгу», — взвыть.

Смысл — тише, чем объявленная мука,
мятежных дней двоякий беспросвет,
заманчив звук, недомоганье мутно —
того, чей адрес: Лиговский проспект.

Не затаясь в посмертии укромном,
в учебниках уныло уцелев,
он подлежит укорам, я — уколам,
покорный и смешливый пациент.

Что боязлива, непрочна и смертна
родная плоть, — осмыслен мной вердикт,
но прибыль, прихоть, или придурь смеха
взбредает в ум и почерку вредит.

Я возлюбила санитарку Таню.
К восьми часам успев прибыть из Кимр,
она всегда мне поверяет тайну:
все — вдребезги в дому, все — вкось и вкривь.

То — грохнулось приданое сервиза,
своею волей быть не пожелав.
Супруг Татьяны не посмел сердиться:
им поврежден фарфоровый жираф.

Красавец пришлый, свадебный подарок,
он в Кимрах шею упасти не смог.
Мне жаль его, но образ мужа ярок:
добр и пригож сапожник без сапог.

Сегодня — дети дедовскую чашу
раскокали о мыльный водоем.
Я говорю ей: — Таня, это к счастью! —
Вздыхаем и смеемся с ней вдвоем.

И впрямь — очнется Волга соловьями,
в сад джинсы миниюбку пригласят.
(Степанов-дед учен был Соловками,
но в Кимрах принял крайний час услад.)

Бумаги кроткой понимаю просьбу:
остановись! Остановлюсь вот-вот,
но как мне скрыть, что Таня кошку Фросю,
для форсу, Табуреткиной зовет.

В раздолье вздора, с лампою совместно,
взгрустну по Волге, по снегам, по льду.
Все Кимры, и Степановых семейство,
и кошку именитую люблю.

Но тот, чьего так жадно жду визита,
хоть приголубит, все же укорит:
с такою чушью мыслимо ль водиться? —
Как быть! Проказлив пересмешник рифм.

Недельной смерти я сдала экзамен
престиж велит искать утех простых.
Поэт, что второгодниками знаем
и скрытен столь, вдруг шуток не простит?

Дней, что — вовне, опаскою терзаюсь.
Прощай, мой Боткин, устали не знай.
Отряхиваюсь, как спасенный заяц.
Спасибо, сердобольный друг Мазай.

Прощаюсь я с белеющей больницей.
Мне трудно тело отодрать и жаль
от вмятины постели, соблазнившей
меня почетным правом возлежать.

Ужель нырну, покинув прочный берег,
плохим пловцом в громокипенье волн?
Меня качает. Ум плывет и бредит:
где цель моя? Мне объясняют: вот.

Я узнаю инкогнито проспекта:
оно опровергает Петербург
и допевает песенку, что спета,
пространность к Ленинграду протянув.

Неопытную поступью нетвердой
дом нагоню, чей номер: двадцать шесть.
Лифт опознаю и этаж четвертый.
Осталось вспомнить: для чего я здесь?

Я озираю, после шторма улиц,
квартиры чужеродный континент.
К окну синицы сразу потянулись —
сердечкам их не дам оконечить.

На стул вздымаюсь, опасаясь выси,
подсолнечный им насыпаю корм.
Предметы вчуже спрашивают: — Вы ли
когда-то населяли этот кров?

Пожалуй, я, и, кажется, недавно.
Как быстро стерся мой прозрачный след
в столь близком прошлом, в будущем — по давню
остаться тенью помысел нелеп.

Не признана беспамятством халата,
надела невзаимный холодок.
То ль я ему казалась плоховата,
то ль он, в шкафу сиротствуя, продрог.

Все вещи существуют самовольно,
смирить их супротивность нелегко.
Не почитать ли книжку Сименона?
Нет, даже это слишком велико.

Окликнула журнальная красotka —
владычица, должно быть, многих снов.
Вникая слабоумьем в суть кроссворда,
узнала: вовсе я не знаю слов.

Уж смерклось к ночи. Я — еще младенец,
что не освоил новость леденца.
Моей бумаги листья разлетелись.
Но как мне быть? Мне дела нет до сна.

Нет мне спасенья, нет мне воскрешенья,
греховно стынет немота души.
Но слышу осторожность возраженья:
покаялась — и дале не греши.

Утешусь всласть ниспосланной годиною:
читать окна морозную финифть,
страшась пера опасною гордыней
страницу ранить или осквернить.

Перо — самоуправно, самовластно,
как страсть его к бумаге превозмочь?
Покуда мозг страдал и сомневался,
синела и ослабевала ночь.

Борису Мессефери

Мои владенья — ночь. Она сильней бывала
в Тарусе неземных и кропотливых зим.
Куокалаой моей пресыщена бумага,
в ней Сортавалы дух черемуховый зрим.

Мне родина — Москва, мне горько удаление
от дома, от родной чужбины пустяков.
Покинутость детей, и дружб разъединенье,
и одиночеств скит — вот родина стихов.

В уют они нейдут, ни исподволь, ни явно,
обычай — быть, как все, зло осмеяв обман —
всегда настороже и поджидают Яго
ревнивей и черней, чем простодушный Мавр.

Им стопор всех препон — лишь рытвина иль кочка,
им надобен обрыв: над пропастью вздохнуть,
на терниях пути оставив кожи клочья.
Рассеян, нелюдим их путь, как Млечный путь.

В объятья ль кану я возлюбленного мужа,
иль елку для детей затею наряжать —
взирает свысока презрительная стужа,
всевластная спасать и гибель предрешать.

Я — ночи вождь и раб, но вдруг уже иссохли
источники зрачков и разорился лоб?
Несчастный властелин, четвертый час в исходе,
как скуден твой улов в сокровищнице слов.

В уме светает мысль, что пуст всенощный подвиг.
Вдруг дара закрома вотще на нет сошли?
Сподвижницей свечой труд жертвенный исполнен —
в свод вечности взлетит скончание свечи.

Заслышав зов, уйду, пред утром непосильным,
в угодия твои, четырехтомный Даль.
Отчизны языка всеведущий спаситель,
прощенье ниспошли и утешенья дай...

Объявлена открытием тетради
отлучка — лучше б утаить: чего.
Луны наитья длились и терзали
чело, что слепо ей подчинено.

Признается последняя обмолвка:
как ни таись, герой сюжета — мозг.
Коль занят он лишь созерцаньем мозга,
он должен быть иль гений, или монстр.

Он — нечто третье, но ему не спится.
А тут еще мне задали урок:
продолжить миф об участии Нарцисса.
Луна менялась. Приближался срок.

Я думала, что выручит повадка:
поскрипывать пером о сем, о том,
не помня, где Эллада, где палата,
плеча одев в халат или в хитон.

Снега равнины сырые покрыли,
Афин виденье — ярче и вольней.
Перед луной равны больница, Кимры,
строй пропилей, огни панафиней.

Пан искушает тростником свирели,
и юноша не поднимает век:
так Афродиты нежности свирепы,
что нимфу Эхо грубо он отверг.

Не так ли мозг вникает в образ мозга?
Ему внушаю: мученик Нарцисс,
превысить одиночество возможно:
забудь себя и сам себе не снись.

Он мне не внемлет. Боле — никого здесь.
Не ведая — темно или светло,
в себя он смотрит, как в глухой колодезь,
пытает отражение свое.

Что знать он хочет, — мне о том не скажет.
Лишь намекнет: как мне скушны вы все! —
де, некогда мне объясняться с каждым.
Меж тем мы с ним — пусть в дальнем, но в родстве.

Среди больничных греческих урочищ,
измучив зреньем свой же водоем,
красавец видит вдруг, что он — уродец,
и вчуже сожалею я о нем.

Его юдоль ущербна и увечна:
латыни нет в зиянии прорех,
и греков речь не изучил невежда,
хоть и похож на грецкий он орех.

Но почему моей ладонью алчной,
коль попросту и попусту я лгу,
утайку драгоценности невзрачной
поглаживаю в утомленном лбу?

Я завершу, поймав себя на слове,
мои ли измышленья, иль ничьи.
Цветов прохладных и прощальных слезы
как будто сами возросли в ночи.

Прискучило мне сочиненье это.
В окне синее хрупкой вести рань.
В угоду безутешной нимфе Эхо
я затворяю долгую тетрадь.

В честь Рождества затеплилась лампада
пред Девкою с Младенцем на руках.
Я за столом пирую, это правда:
стол празднества — в моих черновиках.

Крещусь в испуге: мысль моя греховна,
в даль от ума несправедно ушла.
В ночи блистая, как светла Европа!
Как в эту ночь чужбина мне чужда!

Но не совсем, меж нами нет разлада.
Прости, Младенец, Девы на руках.
В сей час меня провела Эллада,
мы с ней — в сторонних, до-Твоих веках.

Кощунствовать страшусь и каюсь снова:
мне Пан явился (он же — римский Фавн).
Но все это — до Рождества Христова.
Лампада, не внимай моим словам.

Тем более, что до священнодействия
мой край томим отдельною судьбой.
Явленье осиянного Младенца
восславит он в день января седьмой.

Перо мое, грехи, пиши пропало,
пребудь ночного пиршества вождем.
Мы думаем про странный облик Пана,
что нимфою Дриопю рожден.

Отвергнут сын испуганной Дриопой:
отпрянула — наотмашь, наотрез.
Какое счастье, что отец дородный —
Гермес — ребенка на Олимп отнес.

Узрев дитя, возликовали боги:
нечасто появляются на свет
дитяти, что прельстительно двуроги
и козлоноги — ожиданий сверх.

Достанет и для греков, и для римлян
улады дивной: любоваться им.
Он вырастет веселым, пышногривым,
его возлюбят хороводы нимф.

Возглавившему свиту Диониса
дано — дразнить, швырять дары щедрот.
Дразнить — смешно, опасно — додразниться:
ни там, ни здесь не спит Амур-Эрот.

Пан уязвлен стрелою, не сравнимой
с другим оружием. Пан и впрямь пропал:
он за прелестной нимфою Сирингой
по легковесным гонится пятам.

Лишь ту! Ату! Плачевна жертвы участь:
страшна ей страсть грядущих Казанов.
Спасите, боги, нимфы детский ужас:
ее ловец — рогат и козлоног.

Несчастливая бежала и молилась,
не ведая, как дале загрузит.
Сбылась непререкаемая милость,
бегунью обратившая в тростник.

Не горше ль это, чем обьятъя Пана,
в которые — Олимп велик и прав! —

растенъем целомудренным упала
избранница? И — разрыдался Пан.

Как быть страдалцу? Лишь волшебным средством
уймет он боль — о, только бы скорей!
Нож был при нем. Он нежный стебель срезал,
и просверлил, и сотворил свирель.

Он чужд земным красавицам и свахам:
при солнце утра и когда дождит,
пьет с Дионисом (если в Риме — с Вакхом),
пасет стада и в дудочку дудит.

И тот, и этот добрый долг исполнив,
как будто не печалась ни о чем,
Пан (он же Фавн) вкушает отдых
в полдень, посмевший тронуть — гневу обречен.

Он мной любим — рогастый, козлопятый.
Склонюсь перед невинным тростником.
Всю ночь на день декабрьский двадцать пятый
Пан в дудку дул и веял сквозняком.

Со снегопадом спелись невпопады,
стадами дум пестрела голова.
Я верую в прощение лампы:
власть благодатной ночи такова.

Всласть нагулявшись, засыпаю в полдень.
Все отдыхи иные — на костре.
Моих причуд судья суровый понял,
что проще дать мне пребывать во сне.

Мой миф послеполуденный согрели
то ль сами боги, то ли сонмы слуг.
Всю жизнь я жду веления свирели:
вдруг сжалится и мой окликнет слух...

— Не хочу я писать про Нарцисса и Пана,
краткость сил расточая на вздор небылиц.
Без меня — где была ты? — Да так, выступала.
— Это лишнее! — Знаю. Прости и не злись.

Что касается мной учиняемых вздоров —
ты права, их приспешница, — их обвинив.
Наипервый читатель, который мне дорог,
так же думает. Что говорить о иных!

Вчуже — жаль беззащитно отверстой страницы:
кто ее осмеет и упрек повторит?
— Жаль меня! Про огни новогодней столицы
сочини что-нибудь, это — твой панталык.

— Я бы рада, но крах изгоняемой елки
помнишь ли? Я накликала горе строкой.
— Мне ль забыть, как зловещи писаний итоги,
все ты путаешь здравие и упокой.

— Кстати, вот что, подруга сидений понурых,
я вспомнила вместо заздравных речей:
гибель елки, и то, как один из Гонкуров
описал распродажу в квартире Рашель.

Братом страшно покинут, он брел по Парижу.
Умерла, а была навсегда молода
та, чьи вещи теперь предъявлял нуворишу
выжидающе-скаредный стук молотка.

Сникли шлейфы усталые, перья поблекли
шляп ее знаменитых и пышных боа —
словно елки отверженной мертвые блески
на помойке, — давно ли прекрасна была?

— Вот опять, — продолжается ручки стенанье, —
смысл уходит в окольную темную щель.
Мой удел — поспешать и предстать письменами,
но при чем здесь Гонкуры, при чем здесь Рашель?

— Я о них вспоминала во мглистом Париже,
где нездешне сияли огни Рождества.
Но сейчас их значенье — роднее и ближе,
меж сиротствами всеми есть тайна родства.

Вот и вздумалось: образ обобранной ели
близок славе любой. Простаку невдомек:
что — непрочный наш блеск, если прелесть Рашели
осеняет печальный и бледный дымок?

Вновь увидеть, как елка нага, безоружна:
отнят шар у нее, в стужу выкинут жар —
не ужасно ль? — Не знаю, — отвечает ручка, —
не мое это дело. Но мне тебя жаль.

Уходит год стремглав, и вместе — жизнь уходит.
Что — лето! Лбом забыт припек его жары.
И вот, среди двора заснеженных угодий,
декабрь, словно дитя, катится вниз с горы.

Снег достигает щек утешно и целебно.
Боязнь души спешит снежинки дар ценить.
И елки Рождества мне грустно воцаренье:
всевечен, Кто рожден, недолог блеск цариц.

Ель в дом заточена, как вольный зверь в питомник.
Меж тем ее уже венчают на престол.
Ей, в общем, все равно: Орлов или Потемкин,
томит соблазн — на дверь им указать перстом.

Опять одна займусь ее огней дрожаньем.
Жаль — Дашкова горда, вдали, в опальной мгле.
Где сладостный певец, строптивый где Державин?
Не слишком ко двору? Но Третьяковский где?

Ужели отслужу зловещему велению
владычицу мою сопровождать во смерть?
Заброшены дела, как и письмо к Вольтеру.
Мне траура по ней не снести и не воспеть.

Есть Новый год второй, и есть другая елка —
пока наследный принц, чей нелюдим чертог.
Его звезда взойдет, но лишь удушье шелка
со зла ему сулит крещенский вечерок.

Придворный лебезит припляс кордебалета,
но замка тишина — опасна и пьяна.
Сообщник мятежа, готовлюсь раболепно
оплакать скорбный прах, когда придет пора.

Румянит шоколад ребячьих щек прыщавость.
Затейник Дед-Мороз наряжен в зной прикрас.
Я с деревом-божеством, всерьез скорбя, прощаюсь:
а вдруг на этот раз прошусь в последний раз?

Но ель еще в цвету, свежи ее гирлянды,
еще резва игра гаданий и шарад.
Глаз — фонари ее допросит: впрямь горят ли,
дознается: каков смысл, заданный шарам.

Грядущего вблизи, с предчувствием особым,
я думаю о Том, кто уязвимо горд.
Коль рождена в году Его посмертья скорбном,
двухсотый с чем придет Его рожденья год?

Шум праздника страшит, и славословий клики
ревниво слышу я: все кажется, что врут.
То ль поднесу цветок «Цветку», как прежде, или
я с точностью замкну дней совершенный круг?

Накликать не хочу незнаемого часа,
но вопрошающ взгляд, читающий луту.
Как шар, округл объем ниспосланного счастья:
я несомненно есмь, любима и люблю.

И тот, кто мной любим, еще не внес с мороза
возлюбленную ель в пустынное жилье.
Как будто с нею мы не существуем розно,
заране трепещу о проводах ее.

Собрат любезный, пишете Вы плохо,
спалив свечой всеобщные часы.
В посланье нет ни прока, ни упрёка:
Вы пред свечой погибшею чисты.

Заманчива бессонницы повадка
безумствовать, пока свежа луна.
Но сказано: «должна быть глуповата»,
не сказано: должна быть не умна.

И ум излишен, вознесенный в заумь:
предавшись ей, заблудший ученик
не сможет зоркий обмануть экзамен,
судьба вздохнет и «неуд» причинит.

Пусть простоват и непонятлив «неуд»,
не соразмерный с холодом спины
и с бледным лбом, что поощряем небом,
свершенья неудачника смешны.

Ему смешон, быть может, кто удачлив,
преуспеянья скушные чужды.
Портфель с добычей он домой утащит,
везет: в кино родители ушли.

Один он снова при луне, при гнете
незримых сил, диктующих озноб.
О ужас! Вдруг — не различимы: Гете
и вдохновенный мученик азов.

Забудем, впрочем, школьного страдальца,
пусть второгодник встретит Новый год.
Его не зря домашние стыдятся,
вотще в ночи его прилежен горб.

Ответ не нужен. Но зачем Вам рифмы,
унылые зияния меж строк?
Другие разве Вам не говорили:
их современник прихотлив и строг.

Вам надобен насущный, настоящий
слов разнородных дерзновенный стык.
Пример: по наущенью инсталляций
освободите, растолкайте стих.

Ваш — словно спит в качалке устаревшей.
Поверьте мне: Вам скоро надоест,
что, обогнув ухабы ударений,
во дни былые Вас влачит дормез.

Сама пекусь о сдвиге с места, срыве
с откоса, хоть удобна для похвал
ко мне привыкшей, поредевшей свиты.
Мне не дано — пускай удастся Вам.

Галеры раб — сам по себе проворен,
в морях ли мрачных, на пустой тропе ль,
слог должен быть беспечен и привлечен.
Мысль, что умен, — читателя трофей.

Как сладко ладить с волей глуповатой!
Но вольничать нельзя давать строке.
И с Музой, и с Афиною Палладой —
погиб, кто вздумал быть накоротке.

Всегда со мной соседствует ехидно
не знаю — кто, но внемлю, не кляню.
Бубнит: — Побойся Зевса! Знай: эгида
изменчива. Твое письмо — кому? —

Оставь меня, докучный соглядатай.
Твоя обитель — не в моем ли лбу?
Дай насладиться белизной летящей,
Ни ей, ни стеарину я не лгу.

Все — блажь ночей, причуда их, загадка.
Ослабшего рассветного поздна
творится, при мерцании огарка,
печальное признание письма.

Со спорщиком я пререкаюсь неким:
ты думаешь, с утра шлафрок надев,
за кофею, рассеянный Онегин
мой станет адресат и конфидент?

Иль, сдуру впад в ученость и надменность,
впрямь пестую собрата по перу?
Свечу измучив попусту, надеюсь
другую жертву заманить в игру?

Нет, ни на чье внимание не зарюсь.
Уже прискучив несколько семье
и назиданий осмеяв не-здравость,
пишу себе... Верней: пишу — себе.

Возле ёлки



Прииди, Божество! Не жди излишних
низкопоклонных непреклонных просьб.
Давно, твой верноподданный язычник,
недремлющий держу на страже пост.

На дверь кохусь: когда вторжение хвой
нагрянет в дом нашествием лесным?
Удел гортани, одинокой в хоре, —
не праздновать веселье вместе с ним.

Зачем отдал тебя родитель-ельник,
каков, прощальный, был его наказ?
Тебя в ловушку заманил Сочельник,
но ельник знал, что отпустил — на казнь.

Страх пред концом не возмужал с веками.
Зеленая недолговечна масть.
Напялят драгоценностей сверканье —
и поспешат снимать и отнимать.

Лелеет ель детей живая совесть,
чужбин бенгальских брызгает огонь.
К ней никнут — любоваться, славословить.
Она грустит — не скажет нам, о ком.

То ли привета отчей почвы ищет,
то ль помнит, как терзали топором.
Весть: не родить ей нежно-млечных шишек —
с Рождественским совпала тропарем.

Благоухает хвойный хмель! Покуда
дурманит нюх дремотный приворот,
заснуть бы, час проспаться, когда побудка
свиданье с ней, вдруг навсегда, прервет.

Еще блистают серьги, кольца, брошки,
дарованные праведным грехам.
С наложницы разлюбленной, о Боже,
ужель сдерет их нечестивец-хан?

У торжества достаточно резонов
поминками вина затмить вину.
Не я ль сама, как атаман-разбойник,
швырну ее в кипящую волну?

Язычник, эй, страшишь беды громоздкой!
Что толку утешать: забудь, покинь.
В ночь Рождества, — сказал отец Георгий, —
взмыл греков вопль: — Великий Пан погиб!

Оспорить ли свидетельство Плутарха?
Сиринги с Паном не разъят союз.
Сиренев мрак свирельного подарка,
туманен ум — на Врубеля сошлюсь.

Прииди, — говорю, хоть знаю: лучше
ей в нелюдимом обитать бору.
Нужны ли ей игрушки, безделушки
и обещанье, что не отберу?

Уж минет Новогодье, и Крещение
водой остудит предсказаний воск.
Ночей моих прозрачные качели
достигнут марта — с деревом не врозь.

Сокрыт в сусек последним днем декабрьским,
вдруг до апреля устоит наш снег —
непрочных сил живучесть мы докажем.
Докажем ли? Всего скорее — нет.

Мглу сумерек и впрямь содеял Врубель.
Еще не зная, облачат во что,
в красе невинных кружев или рубищ
в дверь обреченно божество вошло...

Тетрадь затворена — прочь из нее скорей,
в ней замкнут год былой, ночей лампадных схи́ма.
Вглядеться в глубь ее — как встретить свой скелет
в запретной полумгле рентгеновского снимка.

Забыть все это! Год новехонький почат.
В день января второй — вдруг снегом сыпануло.
Я, елке посвящать привыкшая печаль,
впадаю... — как точней? — в блаженность слабоумья.

Пусть грешник слаб умом, зато не так он плох,
не вовсе отлучен прощением церковным.
Врасплох его застал фольги переполох
и ватный Дед Мороз им втайне поцелован.

Игрушек прежних лет рассеянный набор
ему преподнесли. Жалки его причуды:
как, бедный, ликовал! Он был смешон, но добр —
иных и высших благ желаю ли, прошу ли?

Он сам был поражен: как чист его восторг,
как свежая душа от детства не остыла.
Но вчуже понимал трепещущий висок:
почетно это снести, признать в этом стыдно.

И тот, кто мной любим, украдкою грустит,
чураясь чуждой всем неопытности новшеств.
Стих сам себя творит, он отвергает стыд,
он — абсолют от всех отдельных одиночеств.

Он наиболее прав, когда с ним сладу нет,
когда заглотит явь и с небылью сомножит, —
невзрачный нелюдим и вождь подводных недр,
где щупальцев его ухватка осьминожит.

Вот и сейчас — чего добытчик и ловец,
он осязает тьму и смутный глаз таращит?
Лишь в том его улов, что мне, как неба весть,
игрушек детский сброд явил картонный ящик.

Все выгодно ему. Что говорить про Ель?
О ней всех мышц его задумались пружины.
Он копит свой прыжок, узрев во всем, что есть,
свою причину — быть, без видимой причины.

Все ухищренья, все увертки — на кону.
Стих — хищный взор вперил в глушь хвои, блески, блики.
Он упоен собой, не нужный никому —
не только Лужникам, но и насущной близи.

Живет один, вовне, со мною не вдвоем.
В соседях — кутерьма и стрельбы вин шипучих.
Здесь — вымыслов театр сам для себя дает
свой призрачный балет, по-моему: «Щелкунчик».

Всех кукольных особ — во времени цела,
облекшая их страх, страсть к выпренным нарядам.
Короны убоясь Мышиного царя,
тайком кошусь на щель, скребущую рядом.

Прозрачную рукой сторожко ранен алыт,
незримость чутких лож пронизана слезами,
и мягко-островерх прелестный задник Альп.
Ужель Бежар на бал явился из Лозанны?

Вот, у кого один погонщик — парадокс.
(Что я Бежару, но лицо прочел он.)
Трико, лохмотья, угол, перекося,
но разум тела педантично четок.

Скажу, дабы бахвальства избежать,
с печальным, но патриотичным смехом:
коль тайнопись лица прочел Бежар,
то — как турист пейзаж читает, мельком.

Вмешался он! Где ритм, где панталык,
обобранные — двух слогов потерей.
Мне их не жаль для рифм и пантомим,
и впредь не стану воздыхать про третий.

Предслышу неминуемый укор:
— Что вы еще изъяли из картона?
Но впрямь я вижу снег Альпийских гор,
внизу — царит округлая корова.

Вдали — отрада озера блестит.
Но вы-то кто и для чего пристали?
Мне к Рождеству, чтобы поздравить с ним,
открытку из Швейцарии прислали.

Подсудны — пестроумье головы,
слов столкновенья, образов обрывки.
Но скушно жить все время там, где вы.
В даль — не хочу, хочу гостить в открытке.

Взаправду есть игрушки, елка, мышь.
Щелкунчик вскоре будет, кстати — вот он.
Одна шалит и хороводит мысль,
сообщниками населяя воздух.

Всю ночь танцуя, тешится спектакль,
пока лампада попирает распри.
Его поставил автор иль списал
с натуры — вам не безразлично разве?

Пир празднества течет по всем усам.
Год обещает завершить столетье.
Строк зритель главный — загодя устал.
Как быть? Я упраздняю представление.

Но и в кулисах — жарко и светло.
Благословляю дни мои, в которых
дано так много и, поверх всего, —
Ель и дары сокровищниц картонных...

Пишу себе — и горя мало,
одно лишь: прочь уходит ель.
Печальный образ «графомана»
мне все роднее и милей.

Герой насмешек и гонений,
и просто — доблестный герой,
священно, точно так, как гений,
он бодрствует ночной порой.

Владеют им восторг и ужас,
он обожжен звездой небес,
подвижник он, чью злую участь
не искусил тщеславья бес.

Он — лишь добычи слов искатель,
но при условии одном:
им не терзаемы издатель
иль чей-то знаменитый дом.

Не грезит он о доле лучшей —
натружен горб опекой лун.
Но это — идеальный случай:
он чист, как роща или луг.

Я видывала эту бледность:
двуогненную темь во лбу,
свиrepой проголоди бедность
и рыцарскую худобу.

Прозрачный, словно струйка дыма,
присушая его устам,
он — схимник, неисповедимо
брезгливый к суетам услад.

Как бы античная колонна,
он гордо-прям и одинок.
Я бы ему низкопоклонно
служила славословьем строк,

но выдоха сбылась обмолвка:
я признаюсь душе своей,
что стала я писать так много,
так много извела свечей...

Лампадкой кроткой и святою
прощаем грех и несудим,
но сострадательной свечою
раздумий поглощаем дым.

Нет передышки на привале,
стул изнемог, как старый конь.
Остановиться не пора ли,
желанный не осилив склон?

Тому, о ком я помышляю,
в каком бы он ни жил селе
иль городке, — я помешаю
навряд ли вестью о себе.

Хвала его ночам суровым!
Да будет новогодний снег
вседобр к его глухим сугробам
и посулит успех утех.

Разомкнуты — мое сиротство
и хвойных празднеств толчея.
Я б с ним мое воспела сходство,
да он — безгрешнее, чем я.

Памяти Гии Маргвелашвили

К опасному готовясь повороту,
преобразив незнаемую новь,
я втайне обрекала переводу
стихи Галактиона «Я и ночь».

Два языка спеклись в моей гортани,
мне свыше данный — делал вид, что слаб.
Как Яузе притоком мутной Мтквари,
мне — с музыкой накоротке не стать.

Надеялась, что издалёка, сбоку,
украдкой до тайника дойду.
О Гмерто! — тщетно я взывала к Богу.
О Цвима! — обращалась я к дождю.

Тягались силы вымысла и яви,
силенки слова иссякали в них.
Сквозили вместе кари и ниави,
дул ветерок, и воздымался вихрь.

Стихи мерцали — кротко, затаенно,
окликнут звук — но звуком не задет.
— Оставь! Не тронь! — витал Галактиона
усмешливый, влиятельный запрет.

Казалось бы, все так прозрачно-просто:
поэт, свеча, души отверстый плач,
луна, сирень... Навязчиво и плоско
что, тычась в темь, талдычишь ты, толмач?

Собрания луны, свечи, сирени —
достаточно, чтоб не был стих уныл.
Сусеки одиночества — свирепы.
Но как мне быть? — А ты спроси у них.

Все непостижной горла бормотанье.
Луна печет все хладней, все больней.
Смысл — здесь ли, там ли — в им сокрытой тайне,
но он семь раз упомянул о ней.

Тайнодержавной власти тайнодержец,
таинственно, утайкою, тайком
он предавался тайнописи — дескать,
не дело всех, о чем она, о ком.

Не я ль вломлюсь в ларец его заветный,
сиреневых не пожалею куш;
к сокровищнице, хрупкой и запретной
рукой развязной подбирая ключ?

Повторные значенья — заунывны,
куртинам — вновь не лиловеть в цвету,
и подлинник его луны доньше
свою оберегает чистоту.

В луну, в сирень окно я открывала,
отпив вина, что проклял он в ту ночь.
— Вот ключ, возьми! — смеялся зазывала
и ухмылялся, убегая прочь.

Как если б тишина часов песочных
исторгла вдруг громоздкий гром времен,
безмолвствующий, восклицал подстрочник,
что чужаку свой жемчуг не вернет.

Я видела: друг ночи — горько молод,
неутолимо, безутешно горд.
Ровесник умолчаний и обмолвок —
тринадцатый, еще беспечный, год.

Спустя два года назовет он имя,
я повторю, пусть поздно, но светло.
Все сущее — поэту не взаимно,
лишь то, что — прежде сущего всего.

«Поэзия — прежде всего», — сказал он.
Так было с ним. Так я перевела.
Строка моим вторжением внезапным
не ранена и не повреждена.

Нет обольщений, сердцу изменивших,
нет смерти убиенных, нет могил.
Конечно, прежде. Но зачем «Могильщик»
о том, что — после, помышлять манит?

Над Мцхетою — девятигласно пенье.
А как же пир, что грянет наяву,
и в оперенье подвенечном пери?
Я знаю имя, но не назову.

В другой ночи — проспектом Руставели
бредет знакомец нищих и бродяг.
Созвучья, мне не данные доселе,
ночные души тешат и бодрят.

Он стал угрюм. Горька вина услада.
Ночь, он и тень фонарного столба.
«Прежде всего!» — но жизнь его устала
свои же знать и подтверждать слова.

Вот вспомнила: в застольном ликование,
при круге цирка, видимом за окном,
печально мне поведал Чиковани,
как встретился ему Галактион.

Уж быть — невмочь, дразнить — еще по силам.
Сиротской усмехнувшись бородой,
— Кто ты такой? — заносчиво спросил он. —
Ах, Чиковани! Знаю! Ты — портной.

Как это кстати! Я искал портного.
Забыл, что всех не залатать прорех. —
(Не возрыдать же: надобна подмога,
не преклоненья — жалости привет.)

Стоял Симон, впрямь горемыка с виду.
И сострадать — возбранно, как мешать.
А далее — впрямую на Мтацминду
таинственный и благородный шаг.

Плач всенародный, пересудов лишних
бессмыслица судачит, но про что?
Живучий, знает истину могильщик:
все станет прахом, ежели прошло.

Тогда зачем, плутая по Тбилиси,
бессонниц утруждая силомер,
я в закоулках видеда из близости
вспять сквозняка летящий силуэт?

Что мне легенды, что чужие басни!
Геенной благодатной опален,
меня бесплотный уверял хабази,
что только что здесь был Галактион.

Правдивое свидетельство не ново.
Скиталец, не имеющий угла,
меня небрежно примет за портного —
я спохвачусь: где нитка, где игла?

Но не скажу, как долго длилось это:
две музыки не совпадут точь-в-точь.
Родная речь слабей, чем «дэда эна»,
в ночи стихи лелея «Я и ночь».

Впустую переमुка перевода
растратой занята свечей и лун.
Вмешательства грешна пере-свобода,
потупился пред ней смиренный ум.

До сумерек рассвета и до солнца,
качнувшись на откосе бытия,
мы таинству молчанья предаемся
втроем: Галактион и ночь — и я...

Г. Ф. Комарову

Как ни живи — вестей, с небес сошедших,
день важно полон, занятый собой.
В краю, чужом иным краям, — Сочельник
благовестил Елоховский собор.

Как будто мира прочего не зная,
ждет Коляды отдельный календарь.
Целует слух Елохова названиее.
Кутью готовит постник-кулинар.

Капризницу он потчует шарлоткой,
глад праведника — лакомством воды.
Но все равны пред тайною широкой
в ожоге ожидаемой звезды.

Мы — попрошайки, с нас и взятки гладки,
да будут святки воздаяньем нам:
колядовать — изнанкой вверх, загадки
загадывать грядущим временам.

В честь торжества и слякоть нам во сладость,
хоть предвещает строгую весну.
Младенца осиянного восславить —
трикирий возожгу, перо возьму.

Но меня гололед
с прямопутку совлек.
Таково проросла —
посейчас молода.

Наперед Рождества
к нам пришла Коляда.
Сладких святок благодать —
целовать и баловать.
Ты меня не виновать,
одари, овиноградь.
То ль в морозе, то ли в зное —
сколько снегу намело,
виноградье наливное,
красно-зелено мое.

Как мной любимо это виноградье!
Ему соплещет море-окиян.
То ль мнится, то ль, в покое и в отраде,
мне ангел тайну ночи открывал.

Пустынников всегда говеет голод.
Какой гуляка их смущен постом?
Чур, чур меня! Дозволил черту Гоголь
попрыгивать и помахать хвостом.

Лампаде разум угодить старался —
смятение дум его не обошло.
Виденье: одиночество страдальца
явилось, привмешалось, обожгло.

Никто, как Гоголь, не томит, не мучит.
Разгадка там, не знаю: где — потом.
Сокровище младенческих имуществ —
с родимой «ятью» долгожитель — том.

Среди детей, терпеть беду умевших,
когда войны простерлись времена,
в повалке и бреду бомбоубежищ
бубнила «Вия» бабушка моя.

Вий, вой, война. Но таинство — мое лишь.
Я чтитла муку неподъятых век
и маленький жалела самолетик,
пылающий, свой покидавший верх.

В без-елочной тоске эвакуаций
изгнанник сирий детства своего
просил о прежнем, «Вия» возалкавший
и отвергавший «Ночь под Рождество».

Та, у которой мы гноили угол,
старуха, пребывая молодой,
всю ночь молилась. Я ловила ухом
ее молитв скорбящую юдоль.

Под пристальным проклятьем атеизма
ребенка лишний прорастал побег.
Он в собственных наитьях затаился,
питающих невежества пробел.

Доверясь лишь возлюбленному древу,
чтобы никто не видел, не ругал,
карандашом нарисовал он Деву
с Младенцем небывалым на руках.

Так жил он с тайной, скрытою подушкой,
уж время — заточают в комсомол,
чей предводитель, смолodu потухший,
как Пан, был пьяноват и козлоног.

Но глаз прельщала невидаль кретина,
который в детстве Буниным любим.
Я шла домой. Меня ждала картинка —
тайник под изголовием моим.

Средь хвойных грез, вполне ино-кромешных,
ель возглавлял, как ей закон велел,
взамен звезды — кошунства наконецник,
чтоб род людской забыл про Вифлеем.

Как выжить обреченному дитяти,
спасительный как совершить рывок,
когда ознобно дед-морозны дяди,
влекущие в загробье хоровод?

Лишь так, пожалуй: заглушает гогот
хранитель сердца, ветхий книжный шкаф.
Коль с Пушкиным — в родных соседях Гоголь,
все минет, обойдется как-никак.

Но боль свежа, жалея страстотерпца:
безумья итальянского не снести,
в камине дотлевают угли текста,
как родина — его туманна смерть.

Уж как бы вдосталь — надобно излишних,
чрезмерных мук, таких никто не знал.
Зачем Белинский, честно взбеленившись,
его посланьем пагубы терзал?

И честность прочих — вздоры слов никчемных,
возмыли — и забыл их небосвод.
Всех подсознаний, стынувших в кочевьях, —
заглавный он, неоспоримый вождь.

Все без него — лишь сироты приюта,
где кормит яд живот и ум детей.
Но свянут флаги, гимны отпоются
насильных измышлений и страстей.

Разгула ночь. Но темнота откуда? —
Ель пошатнута, посуду перебьют.
Черт месяц взял! Зато кузнец Вакула
летит по черевички в Петербург.

День праздника, ожги морозом-солнцем.
Где сотворивший лютый мой букварь?
Как чист опалы снег, куда он сослан:
в утайку сквера, но на свой бульвар.

Елоховского храма позолота,
к печали Нила Сорского, — пышна.
Тот, помысел о ком, — мне отзовется.
Гляжу — а ночь под Рождество прошла.

Святкам рад снегопад —
синеват, сыроват.
Черт крутил и вертел —
наперед Рождества
нам звезду и вертеп
Коляда принесла.
Ты в мой сад-вертоград
приходи, вертопрах.
Выпросить — не воровать,
сыпь в ладони, виноградь.
Ты ко мне — колядовать,
я к тебе — околдовать.
Я другой не знаю доли,
все мне мило, все мало,
виноградье молодое,
красно-зелено мое.

I

Вот вернулась, а была такой нарядною,
выступала: любо-дорого смотреть,
поводила головою своенравною,
не повадилась я заживо стареть.

Это что еще за присказки, за выдумки?
Простудил твой башмачок глубок сугроб.
Ты — не красна девица на выданье,
на тебя взирающий супруг суров.

Грустно сердцу по-над елочными свалками
Божьих ангелов провидеть благодать.
Моя елочка милуется со святками,
Коляда зовет народ колядовать.

Небеса мое приемлют покаяние;
сколько снегу новогодье намело!
Я вспомню и восславлю окиян-море,
виноградье красно-зелено мое.

В честь колядок, как от пагубного зельица,
захмелел дружок-стишок, да не солгал.
Не пришелица я и не чужеземица
во родимых, моих собственных, снегах.

Много снегу, мало свету, с неба павшего:
черт играет, нет ни звездочек, ни лун.
Говорила Маня из деревни Паршино:
упасет от плача не плачевный лук.

Также сказывала, что не любят ангелы
ни вертепа, ни звезды, ни коляды.
Коль нечистого следы в подворке найдены,
под крылечками кладутся колуны.

Перед анделами стыдно воспарившими
мне крыльцо таким гостинцем оснащать.
Маша, андел мой, не станет топорищами
гостевой порог прохожего стращать.

Но не видно ни наряженных, ни ряженных.
Со свечой, с пером, с лампадкой — вчетвером
опасаемся затмения елок радужных.
Что-то предречет крещенский вечерок?

Все томят меня предзнания, предчувствия.
Ум замерз, как водотеча-акведук.
Может, ангелы, чьи милости причудливы,
мне назначенные беды отведут...

II

Отсияли два новогодия,
стали досталью причин для кручин.
Март уж копит день многоводия
Алексея, что разбил свой кувшин.

Алексея звать с «ятью» надо бы,
по старинке Новый год повстречав.

То ль колдобины, то ли надолбы
нагадал мне воск, да при трех свечах.

Ляксе́й-с-го́р-во́да, во́дяными ли
за́страшаешь ты меня́, свя́т-свя́т-свя́т?
Мне сказа́ли бы во Влади́мире:
хв́атит в́рать и але́шки распу́ска́ть.

Вот весна придет всемогущия,
под Рождественской мне не жить звездой.
Бледноликая, знай, Снегурочка:
станешь ростопель, истечешь водой.

Не к добру взойдет заря алая,
будет вечен твой неживой досуг.
То ль дитя поет, то ли ария
позабывтая мой тревожит слух.

Дни весны чужой, будет ваша власть,
о вас зеркальце в сердцах разобью.
«Туча со громом сговаривалась:
ты греми, гром, а я дождь разолью».

Возомнилось мне, слышу якобы:
претерпи, живи, и, куда б ни шло,
«выйдут девицы в лес по ягоды...»:
пусть идут себе, ну, а мне-то что?

Не полита ель водолями,
постарел пострел, чей тулуп истлел.
Лель возлюбленный, возлелеянный,
слезы лей, мой Лель, лели-лель-лели-лель.

Так припевками, прибаутками
Коляде служить, ворожить не лень.

Знать, к беде идти прямопутками,
ель и хмель прошли, вот и лёли-лель.

Еще зелено Божье дерево,
возлегла печаль на мое чело.
Вдруг про Веничку Ерофеева
я подумала, не пойму — с чего.

Поминать вином его надо ли,
пока празднества правит пир людьми?
Нешто, может быть, наши ангелы,
что взаправду вы свысока люты?

Тяжела, темна моя ноченька.
Сжальтесь, ангелы, всех потерь поверх.
Непрогляд и хлад одиночества
утаю от всех, лишь свече повем.

III

Я звезду-Коляду зазову, приманю:
Молода Коляда, не ходи никуда.
Для моих для потех всех-превсех помяну:
уж полхлеба проела Аксинья-кума.

Коль так дале пойдет, то Антип-половод
ждет-пождет, чтоб допреж Алексей побывал,
его Теплым зовут, он — к весне поворот,
а Емелю не чтут, говорят, что — болван.

Есть Алешка-бахвал, да Иван-простачок,
да разумник Наум, да Кузьма-первоплут.
Мне — судьбы и любви подошел пересчет,
водит, сводит с пути парапет-перепуг.

Новогодний сей день есть Василиев день,
что ж, Василий, мой друг, и тебе недосуг
прихорашивать ель хвойно-хворых недель,
ходит ели вокруг хороводик доук.

Коль примета верна новогоднего дня,
плохо дело мое, будет год этот лих.
При лампаде печально глядит на меня
Вопрошающий и Всепрошающий Лик.

Строит святок алюсник проказы гримас.
Выбрал ряженный скромный убор стукача.
Затевала колядки, а вышел романс:
утемнилась душа, догорела свеча.

Как изгнанная елка — одинока,
претерпеваю выюги нагоняй.
Сколь прозвище красиво окаема,
а он — всего лишь плут и негодай.

Не странно ли? Околиц и окраин,
округи и окрестности покой
в название есть, как будто окликаем
их около деревни над Окой.

Ему родней — околыш, околоток.
Вспомню, окаянью вопреки,
окно во снег и журавель-колодец
в Ладыжине, в деревне близ Оки.

Бывало, по заснеженной пустыне
брела туда тулупчика жара.
Когда-то там Цветаевы гостили,
и барыня «Маркиза» там жила.

Моей исповедальною зимою
стремглав одолевала я овраг
Ладыжинский, давно воспетый мною —
подобострастно, а не кое-как.

Светлы мои счастливые денечки.
Не помню: глуповата иль умна,
я сиживала за столом до ночи
и при луне — до позднего утра.

Мне доставало скромного веселья:
не ждать гостей, не ведать новостей,
хоть надо мной проклятие висело
угрюмых и бессмысленных властей.

Что мне до них! От октября до мая
в Ладыжино мой силуэт сновал.
Картину: «А жива ли тетя Маня?» —
художник про меня нарисовал.

Уж много лет пуста ее избушка.
Вокруг — домов оказистая жуть.
Я буквами призналась иль изустно,
кем тете Мане близко прихожусь.

Она, в девчонках, зналась с той «Маркизой» —
ее отец конюшной заправлял.
Дразнили тетю Маню «юмористкой»:
ее словцо — не вкось, а наповал.

Не водится коней у коновязи.
Жила одна и сиро померла.
Старухи — упомянутые власти
коснулись тяжелее, чем меня.

Про что и говорила мне с доверьем,
а при чужих — рот на замок, молчок.
Все радовалась маленьким дареньям,
как долготрудной жизни новичок.

Не родствен «окаему» «окаемок».
Обводом темноты окаймлена,
брожу по перелеску хвойных комнат.
Ужель меня не узнает луна?

Она — мой вождь и вещей понукатель,
глаз созерцатель, помыслов знаток.
Быть может, только доблестный лунатик,
как я, в ее припеке изнемог.

Я все ее поступки и повадки
выслеживала, словно детектив,
то слабый месяц выловив по капле,
то полный круг в объятья захватив.

При ней я не бывала говорлива,
вставала в девять, если в шесть легла.
Бессчетных измышлений героиня —
с луной вовек не схожая луна.

Темно и пусто в бездне заоконной.
Отдай луну, небесный эконо́м!
Знать, черт ее присвоил окаемный.
Чур, чур меня, незванный окаем.

Привез паломник Иерусалима
мне освященных тридцать три свечи.
За ночью ночь они февраль сочли,
Я растопила стройность стеарина.

Казалось мне, что помыслы свои,
а не мои, свеча в ночи творила.
Так двадцать пять огней на нет сошли:
три полночи свеча не озарила,
и у меня осталось шесть свечей —
для вдумчивых до-утренних ночей.

Расчет мой прост: я стала бережлива,
Да и лампадка предо мной горит.
Но мысль о марте разум бередила —
свечу зажгла я для приманки рифм.

Отверстая, добычи ждет ловушка.
Свеча жила, как подобает, час.
Мой лоб пустынен и ленив. Неужто
слова о том, что знают, умолчат?

Я понукаю пульсы кофеином.
Вотще хлопочут бурные виски —
им не угодно вздором говорливым
оплакивать заупокой свечи.

Я думаю: моей строкой недавней
был не к добру помянут «окаем»,
и спать иду с неразглашенной тайной,
задув лампадки чистый огонек.

Я ровно в полночь возжигаю свечи
и долго жду. Уж первый час истек.
Смеется та, с кем ожидаю встречи:
— Я не желаю прыгнуть в твой силок.

Есть дом напротив. В нем не спится лампе
и чей-то профиль на луну глядит.
Заботиться о молодом таланте
прочь от меня насмешница летит.

Прощай, моя сообщница ночная.
Играй с другим задумчивым столом.
Кофейник пуст. Я наливаю чая.
Чай хладен ко всему, что — не Цейлон.

Окна напротив скаредный соперник,
я думаю, что влюблено оно
и видит сад: террасы на ступенях
зонт кружевной был позабыт давно.

Та, что под ним гуляла по аллее,
ушла к гостям — лукавить и сиять.
Всех остальных учтивей и смелее,
ей гиацинт поднес негоциант.

Накрыли стол под липами. Со звоном
бокалы славят праздник именин.
Той, опаленной неотрывным взором,
угодно подношенью изменить.

Она фиалки к поясу приколет.
Рыжей заката челка надо лбом.
Так, час за часом, ночь моя проходит.
Поэт в окне совсем не в ту влюблен.

Докукой крепостного ритуала
я тягочусь. И, что ни говори,
нет никого прекрасней Ренуара,
нет никого прелестней Самари.

Ей-ей, сбегу от барыни-привычки
и от оброка: белый лист марасть.
Не лучше ль быть художником в Париже,
сидеть в кафе, вздыматься на Монмартр.

Меж тем, вернулась та, что улетала.
Брезгливым «фу!» подула на свечу.
Пролепетала: «Мне известна тайна:
он — гений. В полночь снова полечу».

Любим двукратно сочинитель юный:
моею Музой и своей весной.
За мартовской присматриваю вьюгой.
А час какой? Ужель — в конце восьмой?

Сквозь снегопада бледную чащобу,
в засиневшем заданном часу,
родители ведут дитятей в школу.
Я издали их шествие пасу.

Мать опоздать боится на работу,
она торопит сына и ворчит.
Но так идти не хочется ребенку,
что еле-еле ноги он влачит.

Но вот — отдельно, мрачно, величаво
ступает мальчик, избранно один.
Сопровождать возлюбленное чадо
не смеет боязливый поводырь.

Портфеля груз его склоняет вправо.
Мал и суров детеныш-великан.
Усиьем мышц он держит спину прямо.
Его робеют в игры вовлекать.

Мой взгляд остроконечен и неясен,
но выбор сделан. Так с пустых небес
свой перпендикуляр свершает ястреб,
внизу завидев обреченный блеск.

Зрачка прицелом, устремленным сверху,
отъят, присвоен иль подарен мне,
он боле не подвластен педсовету
и лишь условно возвращен семье.

Простительна ль грабительская доблесть
того, кто хищно обирает мир,
тайник вскрывает, изымает образ,
вполне владея только тем, что мнит?

В моих глазах, все утемняясь, зрела
такая сила властной доброты,
что не сумела знать растрата зренья,
как школьники до дома добрели.

Помечен вспышкой, упасен опекой,
кефир отвергший и ушедший спать,
да будет счастлив мальчик, мной воспетый.
Мне лишь на миг с ним довелось совпасть.

Опять я в полночь свечи возжигаю.
Опять напротив бодрствует окно.
Сегодня я луны не ожидаю:
ее тяжелой мглой заволокло.

Коль навестит меня моя летунья
для милости небрежной и скупой,
я ей скажу, что, без причин ликуя,
весь день я провела в кафе «Куполь».

14-15 марта 1999 года

Уж сколько раз воспет мой час четвертый
после полуночи, но почему
потылицы проворною уверткой
от сна — пером я белый лист черню?

Я — скареда словарных одиночеств.
Затылку не прикажешь: оглянись, —
и сам он зряч. Лоб-изыскатель новшеств
в потылице — хранится архаизм.

Я справочника не внемлю соблазнам:
от простодушной старины устав,
все, что в родстве с добром или со благом,
он устранил отставкою: «устар.»

Душа спешит озябшею бегуньей
отринуть вздоры, вырваться из них,
в юродивой догадке слабоумной:
какой чужбины ей дерзит язык?

Гнушаясь долгой святочной неделей,
родную речь попрал и поборол
лихой злоуст, кичащийся надменной
и чужеродной кличкой «патриот».

Я не чураюсь вольнодумных правил —
слов иноземных в гости звать пассаж:
чужак родимый, нелюдимый «паркер»
решает сам, о чем ему писать.

Все моет мама Маню мылом... эра —
неряха возрастила и меня.
Как мне грузин собратна «дэда-эна»:
«иа наргизи» и — «иа на».

Это — нарцисс, это — фиалка — вот как
нюх детских зрений учиться читать.
Уж пятый час вершит усердный отдых,
резвится, не желает почивать.

Ель осыпает ржавые иголки —
в чужом углу, не в отчих во снегах.
Передо мной две маленьких иконки
Казанской Божьей Матери стоят.

Чужда я притязаний и повадок —
коснуться высших таинств напрямик.
Два образка — на Рождество подарок,
вот я и пригорюнилась при них.

Свеча горит, и теплится лампада.
Смысл созерцанья от меня же скрыт.
Ночь-сочинитель не сама ль слагала
невнятный стих: то тихий всхлип, то скрип.

Захожий — не прилежный прихожанин,
твержу слова Рождественских молитв,
с языческим склоняясь обожаньем
пред елкою, пред идолом моим.

Дьячка потылкою смладу не ученой,
и любо мне, и боязно смотреть,
как светлолик Младенец, обреченный
воскреснуть — да, но прежде — умереть.

Помилуй, Невестная Невесто,
мя, отвори измыслия кощунств,
избави от хвалы и от навета —
искательно, просительно крещусь.

Стихи — вознаграждение или плата
за все грехи? Суровая кипа
меня чуждалась: пред стеною Плача
молилась я легко, как никогда.

Записку посылая в небывалость
больших небес, о чем пеклась, о ком?
Да все о Той, чьей речью упиваюсь,
чей обо мне вздохнет заупокой.

Начав во здравье ночи последенной,
опять стемнился помыслов недуг.
Храм многолюдный, дуб уединенный —
тревожат, мучат, из ума нейдут.

Початого остерегаюсь года,
не грежу о дальнейших о летах.
Тишь: слышима опавшая иголка
Труд помертвевшей ели — облетать.

Перечитала неблагополучье
бессвязных строчек — сразу обо всем.
Дитя — Зиждитель, Человеколюбче,
пошли мне мирен, безмятежен сон.

Пора свести потылицу с подушкой,
чья вмятина живет с подушкой врозь.
Как загадала — при свече потухшей
и впрямь поставить точку довелось.

18–19 января 1999 года

Сияет сад, и девочка бежит,
еще свежо июня новоселье.
Ей весело, ее занятие — жить,
и всех любить, и быть любимой всеми.

Она, и впрямь, любима, как никто,
семьей, друзьями, мрачным гимназистом,
и нянюшкой, воззревшейся в окно,
и знойным полднем, и оврагом мгlistым.

Она кричит: «Я не хочу, Антон,
ни персиков, ни за столом сиденья!»
Художник строго говорит о том,
что творчество, как труд крестьян, — вседенно.

Меж тем, он сам пристрастен к чехарде,
и сам хохочет, змея запуская.
Везде: в саду, в гостиной, в чердаке —
его усердной кисти мастерская.

А девочке смешно, что ревновал
угрюмый мальчик и молчал сурово.
Москву давно волнует Ренуар,
Абрамцево же влюблено в Серова.

Он — Валентин, но рекло он отверг
и слыл Антоном в своеволие детства.
Уж фейерверк, спех девочки — наверх:
снять розовое, в белое одеться.

И синий бант отринуть до утра,
она б его и вовсе потеряла,
он — надоел, но девочка — добра,
и надевание банта повторяла.

Художника и девочки — кумир:
Лев золотой, Венеции возглавье.
Учитель Репин баловство корил,
пост соблюдая во трудах, во славе.

А я люблю, что ей сужден привет
модистки ловкой на мосту Кузнецком.
...Ей данный вкратце, иссякает век.
Она осталась в полдне бесконечном.

Еще сирень, уже произросло
жасминное удушье вокруг беседки.
Серьезный взор скрывает озорство,
не сведущее в скуке и бессмертье.

Пусть будет там, где персики лежат,
пусть бант синее, розовеет блуза.
Так Мамонтову Верочку мне жаль:
нет мочи ни всплакнуть, ни улыбнуться.

в ночь на 4 марта 1999 года

Черёмуха моя



*Гни сказку готовую,
что дугу черемховую*

Пословица

В той местности, откель купец Малеев
в иные кущи роком унесен,
где половодье нехотя мелеет,
черемухи прозрачен робкий сон.

Любезен холод бледной северянке.
Кто хрупкость дремы пробудить дерзнет?
Окружя вод и мрачные овраги
проведывает хищный мой дозор.

Я — черный раб, отвергнутый вакханкой,
осмеянный смолянкою старик.
Зияют вазы — раструбы вакансий,
где жизнь ее трех дней не простоит.

Я — грубый варвар, радостный язычник,
рискнувший древо ранить и терзать.
Неправедных блаженств, уже излишних,
диктант и осыпь падают в тетрадь.

Ей посвятив всех возрастов утрату,
стать клинописью почерк норовит.
В деревне схож с дремучестью Урарту,
ревнив и неразборчив черновик.

Вот первый день предсмертного полона.
Дух божества суров и нелюдим,
как будто с милым женихом помолвка
разъята мной. Но кто ей так любим?

Она — не пахнет, не хмелит дыханья.
Пока молчит и зябнет соловей,
живу, как сухопарые декхане,
чью жажду угощает суховей.

Чужбин словесных следопыт заядлый,
зачем это, — мой спросил зевок, —
акцент латыни римско-азиатский
растенье: *Prunus mahaleb** — зовет?

Не приживала городского слуха —
Цветок, предрекший и лещей, и рожь.
Где — голотуха, где — колоколуша,
есть прозвища для черемуховых рощ.

Не путать их с багряной черемухой,
чья сыпь люта (соцветность стягов — тож).
Черемный кот, худой и остроухий,
то рус, то розоват — рыже-пригож.

Сдаю я Далю нежности экзамен.
Свежа в устах родимой речи сладсть.
Черемуху моя не тешит заумь.
Ей не нужна докучливая страсть.

Она не внемлет выпрпенному гимну
и слышит, как стенают вебрь и выпь.
Я вместе с нею стыну, слепну, гибну,
необратимо въздымаясь выпрь.

Дивятся снегу хвойность и песчаность.
Подростка мая борода седа.
С черемухой я загодя прощаюсь
и всякий раз страшусь, что — навсегда...

* *Prunus mahaleb* — черемуха душистая (латынь).

Премьеры чад и блеск
в овраге возле дома.
Первое примул всех
нагая примадонна.

Паду в ее сады
с галерки бельэтажа.
Она — моей судьбы
добыча и пропажа.

Закрыть ее на ключ
и поспешать обратно —
следить за ней из куц
родного ей оврага.

В соитии больном
бетона и железа
ступила на балкон
черемуха — Джульетта.

Вдруг под ребро кольнет
живой сюжет примера:
в нем яду мстит клинок,
остерегись, Ромео.

Какой никчемный вздор —
раздор кровавой распри.
Джульетты вздох и взор
и посейчас прекрасны.

Боюсь, что все — не так.
Сгубивший полонянку,
я — вор ее и тать,
солгавший Пастернаку.

Он куст обожествлял,
расцветший у забора,
не повелев словам
ему чинить разора.

Таков любви дележ
меж теми, кто не жаден:
ты более даешь,
чем просит обожатель.

И впрямь, я — подхалим,
влекомый девами статью.
Мой разум — похотлив
и понукаем страстью.

Прелюбодей словес,
во прихотях притона
дарю невесте весть —
ослушницу Платона.

Быть может, и Платон,
бесплотной дружбы светоч,
в помыслии плохом
юнцов и сам был сведущ.

Испить, изъять из уст
дыхание дикарки.
Деканы, сух и пуст
смысл вашей не-догадки.

Ваш беспорочен рот,
но вы ошиблись в знанье,
когда исчадь роц
«Prunus mahaleb» звали.

Она — не такова,
она — дитя эрота.
Здесь — глушь и трын-трава,
что Глухову — Европа?

Зачем ты лжешь, скажи,
при праведной повадке
бесхитростной свечи,
не меркнувшей лампадки?

Не чернокнижный стол
объят благими снами.
Мой целомудрен слог,
безгрешны талисманы.

Огласке не предам
их тайны сокровенной —
парада их педант,
пугливо суеверный.

Свеча на нет сошла,
но теплится лампадка —
в честь Той, что, как всегда,
волшебнo глуповата.

Я услаждаю ум
растенья властным бредом,
и месяц кротко юн
над Вертушинки бремен.

Заутрени звезда
над Глуховым явилась.
И во гробу свежа
черемухи невинность.

А я — все жить хочу.
Здесь ни при чем Ромео.
Зажгла ему свечу —
и в небе прогремело.

Воздумал май вернуться в март:
снежит, пошаливает.
Округл двух полушарий мрак.
Меня пошатывает.

Мне шлет влиятельный наркоз
моя черемуха.
Подросток просит: — Мне, на рост,
не дашь червончика?

Иду, куда глядят глаза:
в деревню Глухово,
и по пути кормлю козла,
весьма не глупого.

От семерых его детей
устала козочка.
Вдали, в Кахетии моей
зарыта косточка.

Когда печалилась вблизи
числа девятого,
себе велела я: блесни
в честь дня Булатова.

Но мне не внемлет холодный зал,
ему неможется.
Ты опрометчиво сказал,
что все — приложится.

У праздника одна лишь цель —
та, что съедобная.
Я — завсегдатай многих сцен
и все — стыдобина.

Я в том, что мой успех так плох,
не виноватая.
Лишь косточки утешен плод —
кисть виноградная.

Вдруг до нее я добреду
в начале Глухова,
забыв греховную еду
собрания гулкового.

Меня встречает дед Василь
лукавств миганьями.
В избе — пиджак худой висит
с его медалями.

Ловлю, рядом с его женой,
признанья братские:
— Мы в Глухове давно живем,
а сами — брянские.

Я партизанил в пацанах.
Потом — побоище.
Штабной в разведку посылал,
сам шел в попоище.

Пойми толкую я про что,
вещь ощутимая:
шестнадцать государств прошло
через Щетинино.

— Вы повидали белый свет —
сам шел на Брянщину.
— Да, не забыть мне юность лет,
слезой набрякшую...

Он помолчал, да не сдержал
ума подробного.
— Вот было: немца повстречал,
врага — а доброго.

Мог расстрелять — не захотел
сбить душу малую.
Негоже мне за не-расстрел
любить Германию.

За убыль всех дружков и сил
я редко пьянствую.
Еще — Америке я мстил
за боль Пхеньянскую.

— За Ким Ир Сена я не пью.
— А с коммерсантами?
Жируют во земном раю
с детьми мордатými.

— Вы, дядя Вася, их вину
зря осуждаете,
как будто новую войну
вы услаждаете.

— Ну, ладно, что ты, пью за мир,
за землю родную.
За это чокаемся с ним
перед дорогою.

Черемухи моей ведро
туманит ум... С каким терпеньем
гнев матери, в честь Виардо,
сносил покорный сын — Тургенев.

Одышке левого ребра
уничижения привычны:
— Ни снисхожденья, ни рубля!
Юродствуй в прихвостнях певички!

Вот — плачет: как жесток бывал
он, праздный неслух, склонный к тратам.
Постыдность мысли: стал богат
обобранный сиротством траур.

Выискивает свет жену
ему, для праведной улады, —
куды! Нет, я вольней живу
меж арок и колонн усадьбы.

Все домочадцы спать ушли.
Скулою и зрачком — татарин,
одна, в пленительной глуши,
блаженствую, как русский барин.

Читать ли скушную Жорж Санд,
иль к Жоржу Занду мне придраться?
То ль в бальный зал, то ль в зимний сад,
то ли в буфетную податься?

Все есть: кальян, декохт, шлафрок
и, роком predeterminedный,
для гордой знати эшафот —
мой стол, в растенья казнь влюбленный.

С утра зову к себе слугу —
звоню в Булатов колокольчик.
Бегу! Лишь я унять смогу
глад уст, до кофия охочих.

Подав его себе в постель,
вкушаю лакомую бравость,
сокрывшись в крепость кротких стен, покинуть
их не собираюсь.

Мне предстоит цветов полив —
упреки жажды каждодневны.
И я люблю мадам Полин,
но без нее — беспечны нервы.

Вкруг пруда — сыр и сир песок.
Над прудом — бледных куц зевота.
Двух одиноких душ постой
творцов обителью зовется.

Ну, что ж, черемуха, твори
свой выдох, прибыльный для вдоха. Попались
выдумки твои
в отверстый дых, в силок подвоха.

Мы извели с тобой вдвоем
свечи усердье — в ночь длиною.
Есть у бессонниц счетовод —
их месяц, ставший их луною.

Округу в обморок вовлек
непререкаемый твой гений.
Грустны — помолвки соловьев
и не бывавший здесь Тургенев.

Твое упрямство таково:
«колоколушей» слыть не хочешь.
Окликнув, утаю, кого,
звоню в заветный колокольчик.

Вблизи черемухи моей,
глухих аллей, пустых беседок
мозг поспешает пламенеть
так жарко, словно — напоследок.

**Созерцание
стеклянного
шарика**



Ладони, прежде не имущей,
обнова тяжести мешает.
Поэт, в Германии живущий,
мне подарил стеклянный шарик.

Но не простой стеклянный шарик,
а шарик, склонный к предсказаниям.
Он дымчатость судьбы решает.
Он занят тем, чего не знаем.

Когда облек стеклянный шарик
округлый выдох стеклодува,
над ним чело с надбровным шрамом
трудилося, мысля и колдуя.

Пульсировала лба натужность,
потворствуя растрате легких,
чей воздух возымел наружность
вместилища миров далеких.

Их затворил в прозрачном сердце
мой шарик, превратившись в склягу.
Вселенная в окне — в соседстве
с вселенной, заточенной в склянку.

Задумчив шарик и уклончив.
Мне жаль, что он — неопишем...
Но так дитя берет альбомчик
и мироздание рисует...

Это — не эпиграф, это — начало стихотворения.

Может быть, и впрямь, препона моим стараниям заключена в упомянутом неопишемом шарике? Вот он отчужденно и замкнуто мерцает передо мной с неприступным выражением достоинства, оскорбленного предложением позировать и подвергать обзору и огласке свою важную тайную суть. Одушевленная стеклянная плоть твердо противится вхожести дотошного ума, хоть они весьма знакомы. Но на что годен сочиняющий ум, который знает, а упорхнувшая музыка о нем знать не хочет, звук — беспечный вождь и сочинитель смысла. Своевольный шарик — не раб мой, угодливо отнесу его в привычные ему покои письменного стола, а сама чернавкой останусь на кухне и начну о нем судачить. Полюбовалась напоследок, напитав его светом лампы, — и унесла.

Как и написано, шарик этот благосклонно подарил мне поэт, в Германии живущий. Он был немало удивлен силой моего впечатления при получении подарка. Умыслом и умением стеклодува округлое изделие, изваянное его легкими, изнутри было населено многими стройными сферами: более крупными, меньшими и маленькими, их серебряные неземные миры ослепительно сверкали на солнце, приходясь ему младшими подобьями. В сердцевине плотно-прозрачного пространства грациозно произрастала некая кроваво-коралловая корявость, кровеносный животворный ствол — корень и опора хрупкой миниатюрной вселенной. Ее ваятель с раскаленными щеками не слыл простаком: и ум знал, и музыка ума не чуралась. И шарик мой был не простой, а волшебный, что не однажды и только что подтвердилось.

Все это происходило в небольшом немецком городе Мюнстере, населенном пригожими людьми, буйно-здоровыми детьми и множеством мощно цветущих рододендронов. Нарядный, опрятный, неспешный, утешный городок: Если бы вздумала усталая жизнь отпроситься в отлучку недолгой передышки — лучшего места не найти для шезлонга. Но для этого надо было бы родиться кем-нибудь другим — лучше всего вот этим гармонично увесистым дитятей, плывущим в коляске с кружевным балдахинном, свежим и опытным взглядом властелина озирающим крахмальный чепец няньки и весь услужливо преподнесенный ему, обреченный благоденствию мир. Или хорошенькой кондитершей, чья розовая, съедобная для ненасытного сладкожки-зрачка прелесть — родня и соперница

роз, венчающих цветники тортов, сбитых сливок с клубникой и прочих лакомств ее ведомства. Или, наконец, вон тем статно-дородным добропорядочным господином, он не из сластен, он даже несколько кривится при мысли о приторно удавшейся жизни, пока запотевшая кружка пива подобострастно ждет его степенных усов.

Примерка сторонних образов и обстоятельств быстро наскучит, или экспромт сюжета начнет клянчить углов, поворотов, драматических неожиданностей, что косвенно может повредить оболюбованным неповинным персонажам. А у меня всегда, где-то на окраине сердца, при виде чужого благоустройства живет мимолетняя молитвенная забота о его сохранности и нерушимости.

Шарик сразу прижился к объятию моей ладони, пришелся ей впору, как затылок собаки, всегда норовящей подсунуть его под купол хозяйской руки. Собака здесь при том, что теплое стеклянное темя посылало в ладонь слабые внятные пульсы, ободряющие или укоризненные, но вспомогательные.

Пойду-ка верну шарик из полюбованной ссылки, заодно проведу загрызок собаки.

Заведомо признаюсь возможным насмешникам, что часто отзывалась игривости и озорству предметов и писала об этом, как бы вступая с ними не только в игру, но и в переписку. Эти слабоумные занятия не худшие из моих прегрешений, и они несколько оберегли меня от заслуженной почтенной серьезности.

По возвращении в Москву мы с шариком вскоре уехали в Малеевку, где, вырвавшись в лето, главенствовали и бушевали дети. Мой балкон смотрел на овраг и пруд, в глухую сторону, обратную их раздолью. Чудный был балкон! Он был сплошь уставлен алыми геранями, возбужденно пламенеющими при закате. Когда солнце заходило за близкие ели, я думала о Бунине. Гераневый балкон я называла Бунинским. Днем я выносила на него клетку с любимой поющей птицей. К ней прилетал оставшийся одиноким соловей, и они пели в два голоса. Я рано вставала и плавала в пруду — вдоль отражения березы к березе. В пятницу — до понедельника — приезжал Борис, с нашей собакой. Я ждала его на перекрестке в полосатом черно-белом наряде, в цвете и позе верстового столба. Борис и собака уезжали ранним утром — я ощущала яркую, как бы молодую, какую-то остро-черемуховую грусть. Со мной оставались леса

и протяжные поля, гераневый Бунинский балкон с оврагом и прудом, книги, перо и бумага, любимая поющая птица и, конечно, стеклянное сокровище — или сокровищница, учитывая насыщенность его недр звездами, крованистым коренастым кораллом, тайным умом и явным талантом? Мыслящий одухотворенный шарик был неодолимо притягателен для детей, я этому не препятствовала. Шарик с некоторой гордой-опаской, но все же уступчиво давался им в руки. Дети по очереди выходили с ним в другую комнату, шептались, шушукались, спрашивали, просили, загадывали и гадали. Некоторые их желания сбывались немедленно: в правом ящике стола я припасала для них сласти и презренные жвачки. С небольшой ревностью я просила, как о всех живых тварях: только не тискайте, пожалуйста, не причиняйте излишних ласк. Дети вели себя на диво благовоспитанно, уважительно обращаясь к взрослому шарiku полным и удостоверенным именем: Волшебный Шарик. Некоторые из них его рисовали — и получался краткий, абстрактно-достоверный портрет всеобъемлющего свода. Недвижно плывущие в нем сферы нездешних миров они, без фамильярности, именовали пузырьками, что смутно соответствовало неведомой научной справедливости.

По ночам шарик уединялся и собратствовал с всесущей и всезнающей бездной. Возглавляющая Орион желтая Бетельгейзе, по своему или моему обыкновению, насылала призывную тоску, похожую на вдохновение.

...Но так дитя берет альбомчик
и мироздание рисует.

Побывать тобою, рисовальщик,
прошусь — на краткий миг всего лишь,
присвоить лика розоватость
и карандаш, если позволишь.

Сквозь упаданье прядей светлых
придать звезде фольги сверканье
и скрытных сфер стеклянный слепок
наречь по-свойски пузырьками.

А вдруг и впрямь: пузырь — зародыш
и вод, и воздуха, и суши.
В нем спят младенец и звереныш.
Пузырчато все то, что суще.

Спектр емкий — елочный и мыльный —
величествен, взглядеться если.
Возьми свой карандаш, мой милый.
Остерегайся Бетельгейзе.

Когда кружишь в снегах окольных,
и боязно, и выюга свищет, —
то Орион, небес охотник,
души, ему желанной, ищет.

Вот проба в дальний путь отбытья.
Игрушечной вселенной омут —
не сыт. Твой взгляд — его добыча —
отъят, проглочен, замурован...

Старинно воспитанный, учено-сутулый мальчик стал ближайшим конфиденнтом шарика, но деликатно посещал его реже других паломников, робко испросив позволения. Когда они с шариком смотрели друг на друга, меж ними зыбко туманилось и клубилось родство и сходство. Глаза мальчика, отдаленные и усиленные линзами очков, тоже являли собою сложно составленные миры, сумрачные и светящиеся, с дополнительными непостоянными искрами. Казалось, что самому мальчику была тяжела столь громоздкая сумма зрачков: понутив голову, он занавешивал их теменью ресниц — это был закат, общий заход-уход лун и солнц, зато, обратное, восходное, действие вознаграждало и поражало наблюдателя. Мальчик играл на скрипке, уходя для этого в глубины парка, выпадающего в лес, и однажды — в моей комнате, что сильнее повлиало на поющую птицу и прилетавшего к ней соловья. Небывалое трио звучало душераздирающе, и одна чувствительная слушательница разрыдалась под моим балконом. Мальчик жил во флигеле под легкомысленным присмотром моложавой, шаловливой, даже озорной прабабушки. Можно было подумать, что добрые феи, вы-

соко превосходящие чином противоположные им устройства, вычли из ее возраста годы тюрем и лагерей, подумали — и еще вычли, уже в счет других приговоров, тоже им известных. Сама же она объясняла, что фабула ее жизни была столь кругосветна, что безошибочный циркуль вернул ее точно в то место времени, откуда ее взяли в путешествие. «Не в главное путешествие, — утешала она меня, — я говорю о детстве. Я рано себя заметила. Я совсем была мала, но не «как сейчас вижу» — в сей час живу в счастье дня, которого мне на всю жизнь хватило. В то лето разросся, разбушевался жасмин, заполонил беседки, затмил окна, не пускал гостей в аллеи. Няня держит меня на руках и бранит жасмин: разбойник жасмин, неприятель жасмин, войском на нас нашел, ужю тебе, жасмин. А продираясь сквозь жасмин, к нам бежит девочка-мама и кричит: папа с фронта приехал в отпуск! Он крест Святого Георгия получил! За ней идет прекрасно красивый отец, с солнцем в погонах, и целует усами мои башмачки. А вечером — съезд, пиршество, фейерверк и среди белых цветов жасмина — обрывки белых кружев. Ну, а дальше что было — известно. Только — если человек запасася таким днем, он и в смерти выживет и не допустит в сердце зла».

Сквозь шарик или в нем я живо видела тот счастливый день, может быть, его избыточного запаса и мне достанет — хотя бы для недопускания в сердце зла. Чудная картина июньского полдня внушала зябкую тревогу. Дама в белом платье с розой у атласного пояса, офицер в парадном мундире, добрый снеговик няньки, светлое дитя в батистовых оборках, белый жасмин, белые кружева. Как все бело, слишком бело, и какая-то непререкаемая смертельная белизна осеняет беззаботную группу, приближается к ней, готовится к прыжку из жасминовых зарослей. Ей противостоит неопределенный крылатый силуэт, бесплотный неуязвимый абрис — видимо, так окуляр шарика выглядел и выявил из незримости фигуру Любви. Дальше смотреть не хотелось, чтобы не допустить в сердце зла.

Очаровавшая меня прабабушка — может быть, в ней и упала свою сохранность фигура Любви? — тоже дружила с шариком, он нежился и лучезарил в ее тонких руках. Однажды он огорчил ее, нарушив свойственную ему скрытность. Старая молодая дама печально молвила: «Да, это правда, и быть посему — быть худу. Влюблен мой правнук — вы знаете, я его прадедушкой дразню, — тяжело, скорбно влюблен, старым роковым способом».

Снежной королевной того жаркого лета была высокая взрослая девочка — всегда на роликах и с ракеткой. Длинные белые волосы — в прическе дисциплины, не позволявшей им развеиваться по ветру или клониться в сторону обеденного стола. Хладные многознающие глаза с прямым взглядом, не снисходящим к собеседнику. Когда она неспешно проносилась по выбоинам асфальта, страшно было за высокие амфоры ее ног, наполненные золотом виноградного сока. Кто-то предупредил ее об опасном месте, удобном для спотыкания или упадания. Она сурово успокоила доброжелателя: «Со мной этого не может быть». Заискивающая свита подружек звала ее Лизой, она не возражала: «Хоть горшком... Мое имя Элзе, но вам это не по силам». Говорили, что отец ее — норвежец, русская мать преуспевает в собственном компьютерном деле. Кто-то осмелился спросить ее об отце: правда ли, что он — норвежец, и не шкипер ли он? Она ответила: «Правда то, что меня в вашей русской капусте нашли». В честь этого обстоятельства она появилась на детском празднике в прозрачном туалете бабочки капустницы. Приставленная к ней гувернантка или приживалка укоризненно зашептала ей в ухо, и все услышали строгий ответ: «А вы видели когда-нибудь, чтобы бабочки носили зипун?» И тут же обратилась к прабабушке мальчика, искоса указав на него подбородком: «Меня — в капусте, а вот этого где удалось отыскать?» Дама кротко и доброжелательно ответила: «Его нашли в жасмине, это очень редкий случай». Ей нравилась девочка, она подозревала в ней трудное горячее сердце, крепко-накрепко запертое, как ларец с алмазом, и не ключом, а зашифрованным набором чисел и букв.

В теннис девочка играла одна, гнушаясь неравными партнерами, одному смелому претенденту отказала так: «Нет уж, вы играйте в свой шарик, а я — в свой».

Родителей капустной девочки и жасминного мальчика никто из живущих в доме никогда не видел, но в алмазном норвежестве девочки я не сомневалась. Для меня она была родом из Гамсуна, из его чар, из шхер, фиордов, скал и лесов. Безудержная гордыня фрекен Элзе не могла вволю глумиться над избранником ее пристальных насмешек: он избегал ее, вернее, сторонился с видимым равнодушием, но она его настигала: «Вашей сутулостью вы доказываете ваше усердие в умственных занятиях?» — «О нет, примите

этот изъян за постоянный поклон вам», — кланялся мальчик. Или: «Я видела вас в беседке с тетрадкой. Вы пишете стихи? О чем вы пишете?» — «Да, иногда, для собственного развлечения, сейчас — о звезде Бетельгейзе». Надменная фрекен Элзе тоже умела ошибаться: «Это — посвящение? Не стану благодарить, потому что рифма — примитивна». — «Как вы догадались? Рифма действительно крайне неудачна, искусственна, вот послушайте:

Плутает слух во благе вести:
донесся благовест из Рузы.
Но неусыпность Бетельгейзе
следит за совершенством грусти.
Доверься благовесту, странник,
не внемли зову Бетельгейзе:
не бойся, что тебя не станет,
в пыланье хладном обогрейся.
Какой затеял балетмейстер
над скудостью микрорайона
гастроль Тальони-Бетельгейзе
с кордебалетом Ориона?
Безынтересны, бестелесны,
сумеет ли без укоризны
последовать за Бетельгейзе
в посмертья нашего кулисы?»

— Какой ужасный ужас! — искренне возмутилась незарифмованная девочка. — Дайте мне эту гадость, я порву, чтобы и следа не осталось.

— Пожалуйста, — с готовностью согласился сочинитель. — Только здесь ничего не написано, это само из воздуха взялось.

На листке бумаги не было никаких букв, но присутствовало изображение шарика с его разновеликими зрачками и отраженными в нем разнообразными зрачками мальчика.

— Так я и знала! — еще пуще прогневалась девочка. — Вы не из воздуха, а из вашего шарика все эти вздоры берете. Пусть он волшебный, но вашему одиночеству он вместо собаки. Тогда называли бы: Полкан. Нет — Орион. «Орион, к ноге!» — в вашем захудалом микрорайоне это бы пышно звучало.

— Собаку я люблю, — последовал задумчивый вздох.

— Собаки это не касается, а ваше бутафорское мироздание — разрываю и распускаю.

Нарисованные миры врозь покинули нарисованное здание стекляннй темницы-светлицы и на крыльях бумажных клочков разлетелись по сквозняку вселенной, отчасти обитающей и в наших скромных угодьях. Бутафорский хаос распадал все же производил небольшое зловещее впечатление.

— Дайте мне ваши очки, — приказала разрушительница миров и сердец.

— Но зачем? Вы в них ничего не увидите, — сказал мальчик, покорно обнажая затрудненный восход близоруких светил, умеющих смотреть в свой исток, в изначальную глубь обширного исподлобного пространства. Девочка надела очки, странно украсившие ее русалочье лицо, — словно она из озера глядела.

— Для этого и прошу. Вот теперь хорошо: какое удовольствие вас не видеть. Надо бы заказать такие, если у оптики найдется столько диоптрий — не все же мне отдать. Впрочем, я и так вас больше не увижу: завтра мы с тетушкой уезжаем. Так что — поставьте не поминать лихом.

Она протянула мальчику руку, и он взросло склонился к ней похолодевшими губами:

— Прощайте.

Засим ролики фрекен Бетельгейзе удалились.

Вскоре собрались к отъезду прабабушка и правнук и зашли попрощаться со мной, шариком и поющей птицей — навещавший ее соловей отсутствовал. В темном дорожном платьице разминувшаяся с возрастом прабабушка смотрелась совсем барышней, но, при свете гераневого балкона, видно было, какую горечь глаз нажила, намыкала она данной ей долгой жизнью, возбранив себе утеху слез, жалоб и притязаний. Она застенчиво протянула мне засушенную веточку жасмина: «Преподнесите и этот цветок стихотворению Пушкина «Цветок», я это ваше обыкновение невольно заметила». У «Цветка», в моих и во многих книгах, много уже было преподнесенных мной цветков, и я часто наугад вкладывала лепестки меж других страниц, перечитывая их, с волнением принимая их понимающую усмешливую взаимность. Жасмин я бережно положила по назначению — том привычно открывался в должном цветочном месте.

Опасаясь обременить ее тяжестью горшка, я заведомо приготовила для нее сильный отросток герани, уже прицеливший корни к новому питательному обиталищу. Она радостно смеялась, умерив горемычность глаз: «Представьте: как раз горшок у меня есть, а теперь и растение есть, такое совпадение — роскошь». Мальчик и шарик сдержанно прощально переглянулись. (Мне не однажды доводилось раздавать заповедные предметы, как бы следуя их наущению и устремлению, но искушение дарить на шарик никак не распространялось, даже приблизительная мысль об этом суеверно опасна.)

Увеличив свободу и прилежность моих и шарика занятий, школьные каникулы кончились. С этой фразы начинаются каникулы воображаемого читателя. Ведь он мог боязливо предположить, что занесшийся автор пустился писать роман, и предлинный: о прабабушке и о мальчике, о напряженной дрожи многоточия меж ними, о пункте острого электричества, не известного Эдисону, неодолимо ссоединяющему и уязвляющему сердца. Но нет, эта заманчивая громоздкость не обрушится ни на чью голову, а останется в моей голове — подобно отростку герани, пустившему корни в стакане воды.

Пора приступить к началу и признаться, что произошло на самом деле. Некоторое время назад я сидела за столом, имея невинное намерение описать мой шарик, чья объявленная волшебность не содействовала мне, а откровенно противоборствовала. Врасплох зазвонил телефон, и определенно милый (это важно) женский голос попросил меня о встрече, об ответе на несколько вопросов обо мне, о моей жизни. Неподалеку лежали два недавних интервью, вполне достоверных и доброкачественных, но я еще не очнулась от неодолимой скуки их прочтения. Ни за что не соглашусь, — бесполезно твердо подумала я. Но голос был такой милый, испуганный, уж не подозревал ли он меня в злодейской надменности, в чопорной тупости? А я — вот она: усталый человек, сидящий на кухне, печально озирающий стеклянный шарик. Таким образом, один ответ уже был, может быть, и другие откуда-нибудь возьмутся, хотя бы из этой усталости, не пуста же она внутри. И я сказала сотруднице журнала:

— Приходите.

Она и сама была милая, робкая, доверчивая, со свежими снежинками, еще не растаявшими на беззащитной шапочке. Этой небойкой пригожести, несмелой доброжелательности, этим снежинкам — не выходило отказать. Ее кроткое вопросительное вмешательство в мое сидение на кухне походило на ласковое сочувствие, а не на докучливое любопытство. Мы невнятно сговорились, что я отвечу на вопросы, не изъятые, не заданные впрямую, отсутствующие. С этим обещанием, как с удачей, она отправилась в свой путь по зимнему дню, может быть дальний и нелегкий.

Опять мы остались один на один с шариком и как бы в сходных, если не равных положениях. Сторонние обстоятельства понуждали нас разомкнуть дрему охранительных ресниц, обнажить устье зрачков, берущих исток во взгорбьях темени, — приглашали задумчивый моллюск на бал погостить на блюде устриц. Втайне я полагалась на участливую подсказку шарика. То, что он имеет врожденные и вмененные ему предсказательные способности, как оказалось, известно не только мне.

Есть брат у шарика. Он — царствен.
Сосуд пророческого шара
в театре, в городке швейцарском
я видела в руке Бежара.

В дырявом одеянье длинном,
дита умершее качая,
он Лиром был, и слезы лил он,
и не было слезам скончанья.

Сбывались предсказания шара,
воображение поражая,
и было нестерпимо жалко
весь мир, и Лира, и Бежара.

Но я запомнила, как шел он,
отдав судьбе ее трофеи:
в лохмотьях, бывших властным шелком,
труд тела — краткость и терпенье.

Не мук терпенье, не позора —
мышц терпеливая находка:
не оступиться в след повтора,
всяк шаг — добыча и охота.

Так поступь старого гепарда
тиха, он — выжиданья сгусток,
и тетива спины — горбата,
вобравшая прыжка поступок.

Что нищая подет корона,
не внове ль зала обожанью?
Кровь творчества — высокородна:
смысл шара, ведомый Бежару...

Да, снежной зимой, в Лозанне, Борис и я видели балетную постановку «Короля Лира» — дерзкую и целомудренную. Уединенность театра казалась преднамеренно отшельной, не зазывной, не отверсто-доступной. Его аскетичные тенистые своды возвышали зрителей переполненного зала до важной роли избранников, соучастников таинственного действия. В премьерном спектакле Лиром был сам Бежар. Его отрешенное лицо не объявляло, не предъявляло силы чувств — только блики, отсветы, сумерки зашифрованных намеков составляли выражение упования или скорби. Его сдержанные, расчетливо малые, цепкие движения словно хищно гнались за совершенством краха, не экономя страсть всего существа, а расточая ее на благородную потаенность трагедии. В правой руке он держал мутно мерцающий стеклянный объем темнот и вспышек, явно предвидящий и направляющий мрачный ход событий. Это был величественный, большой и старший, пусть косвенный, но несомненный сородич моего шарика. Это меня так поразило и отдалило от прочей несведущей публики, как если бы я оказалась забытой в глуши дальней свойственницей Короля Лира и свежими силами моего молодого шарика все еще можно было поправить. Моя ревность была уверена (может быть, справедливо), что этот округлый роковой персонаж и труппа, и зрители, если замечают, принимают за декоративную пустышку, за царственную прихоть Бежара. Я еле дожила до разгадки. Один просвещенный

господин объяснил мне, что подобные изделия издревле водились в разных странах и название их, в переводе с французского, означает именно то, что я сама придумала: магический, предсказующий, гадательный. Так что не зря я в мой шарик «как в воду глядела» и теперь гляжу.

Из всего этого следует, что поверхность моей жизни всегда обитала на виду у множества людей, без утайки подлежа их вниманию и обзору. Но не в этом же дело. Главная, основная моя жизнь происходила и поныне действует внутри меня и подлежит только художественному разглашению. Малую часть этой жизни я с доверием и любовью довожу до сведения читателей — как посвящение и признание, как скромное подношение, что равняется итогу и смыслу всякого творческого существования.

Конечно, я не гадаю по моему шарiku, не жду от него предсказаний. Просто он — близкий сосед моего воображения, потакающий ему, побуждающий его бодрствовать.

Все судьбы и события, существа и вещества достойны пристального интереса и отображения. И, разумеется, все добрые люди равно достойны заботливого привета и пожелания радости — вот, примите их, пожалуйста.

О чем стекла родитель думал?
Предзнал ли схимник и алхимик,
что мир, возвращенный стеклодувом,
ладонь, как целый мир, обнимет?

Ребенок обнимает шарик:
миров стеклянность и стократность —
и думает, что защищает
их беззащитную сохранность.

Стекло — молчун, вещун, астролог
повелевает быть легенде.
Но почему о Лире скорбном?
Но почему о Бетельгейзе?

Не снизойдет ученый шарик
до простоумного ответа.
Есть выбор: он в себя вмещает
любовь, печаль, герани лета.

Он понукает к измышленьям
тот лоб, что лбу его собратен.
Лесов иль кухни ты отшельник,
сиятелен твой сострадатель.

Февраль 1997

Нечаяние
ДНЕВНИК



В нечаянье ума, в бесчувствии затменном
внезапно возбелел, возбрёзжил Белозерск...
Как будто склонны мы к Отечеству изменам,
нас милиционер сурово обозрел.

Как Нила Сорского, в утайке леса, пустынь,
спросили мы его, проведать и найти?
То ль вид наш был нелеп, то ль способ речи путан, —
он строго возвестил, что нет туда пути.

Мы двинулись назад, в предивный град Кириллов.
(О граде праведном мне бы всплакнуть в сей час.)
В милиции подверг нас новым укоризнам
младой сержант — за что так пылко он серчал?

Так гневался зачем, светло безбровье сунул,
покуда, как букварь, все изучал права?
Но скромный чин его преуменьшал мой суффикс:
сержантику — гулять иль свататься пора.

Взгляд блекло-голубой и ветхость всеоружья —
вид власти не пугал, а к жалости взывал.
— Туда дорога есть, — сказала нам старушка, —
да горькая она и неподсильна вам.

Не надобно туда ни хаживать, ни ехать! —
Нам возбраненных тайн привиделся порог.
Участливым словам ответив грозным эхом,
над нами громыхнул-блеснул Илья-пророк.

Впрямь — грянула гроза. Коль, памятный поныне,
всезнающий диктант со мною говорит, —
как перед ним мои писанья заунывны!
Я ритм переменю, я отрекусь от рифм.

Становится к утру кипящею риторкой
тьма темени, испив всенощный кофеин.
Мой час, после полуночи четвертый,
на этот раз прошусь с наитием твоим.

Правописание слов и право слов изустных —
пред златом тишины все тщетно, все — равно.
Пусть Нила-Бессребреника пустынь
словесное мое отринет серебро...

Вчера поступила так, как написала: поставила точку, задула свечу, лампа продолжала нести службу, жаль было грубо усмирить и без того смирную, иссякающую лампадку, не шел приглашаемый сон в непокойную темь меж челом и потылицей, меж подушкой и поддушкой — к этим словам часто и намеренно прибегаю, потому что любят их мои лоб, затылок и заповедная окраина быстротекущего сердца.

Молитвослов объясняет содержание слова «нечаяние» как «бесчувственность», я, в моем собственном случае, толкую его как условное, кажущееся бесчувствие, зоркое и деятельное не-сознание, чуткое забытие — например, опыт важного, как бы творческого, сна или хворобы, претерпеваемой организмом с трудным усердным успехом, с нечаянной пользой и выгодой драгоценно свежего бытия. Приблизительно в таком блазнящем и двойственном поведении разума ярко являлись мне Вологда, безумный Батюшков, Ферапонтов монастырь с Дионисием, череда прозрачно соотнесенных озер — вплоть до деревни Усково, тетя Дюня, давно покинувшая белый свет, но не меня.

Усмехнувшись, переглянулась с верным дружественным будильником, ни разу не исполнявшим этой своей должности: в восьмом часу утра обдумываю посвящение вечной ея памяти — не на долгую посмертную жизнь моих измышлений полагаясь, а на образ хрупко-сухонькой тети Дюни, он и есть выпуклый, объемный образ моей

пространной горемычной благословенной родной земли, поминаемой не все.

Сильно влияет на беспечно бодрое, вспылчивое возглавие нерассветшее утро: «Другим — все ничего, а нам — все через чело».

Раба Божия тетья Дюня, при крещении нареченная Евдокией, по батюшке — Кирилловна, родилась в последнем году прошлого века, в прямой близости от села Ферапонтова, жития ее было без малого девяносто лет. В девках ей недолго довелось погулять: о шестнадцатом годе вышла она замуж за Кузьму Лебедева — «самоходкою», без родительского благословения. «Мы на высочайшее подавали», — важно говаривала тетья Дюня. Высочайшее соизволение было молодыми получено: осенью четырнадцатого года Кузьма ушел на войну, успев перед походом сладить, сплотничать собственную нарядную избу в деревне Усково на крайнем берегу Бородавского озера. Многажды и сладостно гащивали мы с Борисом в этой избе, в которой теперь гошу лишь мечтаньем помысла: иначе, без тети Дюни, — зачем? Исторический документ за Государевой подписью так хоронила тетья Дюня от вражеского призора, что потом уже не могла найти. От краткой девичьей поры осталась бледная, нежного цвета сумеречного воздуха лента, когда-то вплетаемая в косу, после венца, запрещенного отцом-матерью, повязавшая давно увядшие бумажные цветки, поднесенные дедовской иконе. Тетья Дюня, перед скудными трапезами, крестилась на нее, шептала «Отче наш...». Ей утешно было, что и мы встаем вместе с ней, кланяемся покаянно образу Божией Матери и соседнему Святому Николаю-угоднику, чья опека не помогла ее старшему сыну в грешной его, уже окончившейся, жизни. От чужих тетья Дюня таилась, и не напрасно: сколько раз посягали на ее сокровища местные начальственные антихристы, потом поглядывали в окошко хищные заезжие люди. Натруженные прялица, веретено, коклюшки в ту пору скушно отдыхали в верхней светелке, а прежде была тетья Дюня знаменитая мастерица прясть, ткать, плести кружева. Однажды явилась из Вологды комиссия, испугалась гореопытная хозяйка, завидев не своих гостей: неужто опять грядет разбой по ее иконы и другие, менее ценные необходимости, или несут дурную весть, или сбылся чей-то навет? Ан нет, пришельцы были ласковые, хвалебные, взяли ее рукоделия на выставку народного творчества и, через время, наградили почетной грамотой, с золотыми буквами

вверху, с печатью внизу. Иногда тетя Дюня просила меня: «Вынька, Беля, из скривища мою лестную грамотку, почитай мне про мой почет». Я бережно доставала, вразумительно, с выражением читала. В конце чтения нетщеславная слушательница смеялась, прикрывая ладошкой рот: «Ишь, чего наславословили, да что им, они — власть, им — всласть, они и не видывали, как в старое-то время кружевничали, вот хоть матушка моя, а бабка — и того кружевной. Ох, горе, не простили меня родные родители за Кузю, маменька сожалела по-тихому, а тятенька так и остался суров, царствие им небесное, вечная память». Так потеха переходила в печаль, но защитная грамотка обороняла ее владелицу от многих предсдателей, заместителей и прочих посланцев нечистого рока, упасала, как могла, хрупкую и гордую суверенность.

Если можно вкратце, спроста, поделить соотечественное человечество на светлых, «пушкинских» людей и на оборотных, противу-пушкинских, нечестивцев, то тетя Дюня, в моем представлении, нимало не ученая ни писать, ни читать, в иной, высокой грамоте сведущая, — чисто и ясно «пушкинский» человек, абсолют природы, ровня ее небесам, лесам и морских озерам.

Я передаю ее речь не притворно, не точно, уместно сказать: не грамотно, лишь некоторые выражения привожу дословно. Письма тети Дюни обычно писали за нее просвещенные соседки, кто четвертого класса, а кто и восемь окончившие. Но одно ее собственноручное послание у меня есть, Борис подал его мне, опасаясь, что стану плакать. В конверте, заведомо мной надписанном и оставленном, достиг меня текст: «Беля прижай худо таскую бис тибя». К счастью, вскоре мы собрались и поехали. Что мне после этого все «почетные грамотки» или мысли о вечной обо мне памяти, которую провозгласят при удобном печальном случае. Но, может быть, в близком следующем веке кто-нибудь поставит за рабу Божию Евдокию поминальную заупокойную свечу.

Про следующий век ничего не могу сказать, но сегодня к обеду были гости, один из них привез мне из Иерусалима тридцать три свечи — сувенирных, конечно, но освященных у Гроба Господня. Разговоры веселого дружного застолья то и дело, впрямую или косвенно, нечаянно касались жизни и смерти, таинственной «вечной памяти». Потом гости ушли. В полночь, не для излишнего изъяснения правоверного чувства, а по обыкновению своему, зажгла

лампу, лампадку, дежурную свечу и одну из подаренных — с неопределенной улыбкой, посылаемой в сторону тети Дюни.

Моими поздними утрами
проверю прочность естества:
тепла, жива. Но я утраты,
на самом деле, — не снесла.

Претерпевая сердца убыль,
грусть чьим-то зреньям причину:
стола — все неусыпней угол,
перо — поспешней, почему?

Тьма заоконья — ежевична,
трепещет пульсов нетерпеж,
ознобно ночи еженище —
отраден мне неожиданный еж.

Мне не в новинку и не в диво
заране перейти в молву.
Сочтем, что будущность снабдила
моим — издалека — ау!

Не знаю — кто предастся думе
о старине отживших дней,
об Ускове, о тете Дюне
во скрывище души моей.

Не призраков ли слышу вздохи?
В привал постели ухожу.
Лампадка — доблестней и дольше
строки. Жалею — но гашу.

Сей точки — точный возраст: сутки.
Свеча встречает час шестой.
Сверчка певучие поступки
вновь населяют лба шесток.

Ровно в шесть часов сама угасла лампадка: масло кончилось. Трудится большая, красного стеарина, для праздничных прикрас дареная, — рабочая свеча, определение относится лишь к занятию свечи. «Горит пламя, не чадит, надолго ли хватит?»

Иерусалимскую, как бы поминальную свечу я давно задула, чтобы не следить за ее скончанием, и подумала: возожгу новую во здравие и многолетие всех любимых живых.

Украшения отрясает ель.
Божье дерево отдохнет от дел.
День, что был вчера, отошел во темь,
января настал двадцать пятый день.

Покаянная, так душа слаба,
будто хмурый кто смотрит искоса.
Для чего свои сочинять слова —
без меня светла слава икоса.

Сглазу ли, порчи ли помыслом сим
возбранен призор в новогодье лун.
Ангелов Творче и Господи сил,
отверзи ми недоуменный ум.

Неумение просвети ума,
поозяб в ночи занемогший мозг.
Сыне Божий, Спасе, помилуй мя,
не забуди мене, Предивный мой.

Стаю тихо жить, затвержу псалтирь,
помяну Миней дней имена.
К Тебе аз возвах — мене Ты простил
в обстоятельствах, Надеждо моя.

Отмолю, отплачу грехи свои.
Живодавче мой, не в небесный край —
восхожу в ночи при огне свечи
во пречудный Твой в мой словесный рай.

По молитвеннику — словесный рай есть обитель не словес, не словесности, но духа, духовный рай. Искомая, совершенная и счастливая, неразъятость того и другого — это ведь Слово и есть?

Некие неуправные девицы пошли в небеса по ягоды, обобрали ежевику ночи, голубику предрассвета — синицы прилетели по семечки кормушки.

Еще держу вживе огонь сильной красной свечи — во благоденствие всех Татьян, не-Татьян, всемирных добрых людей.

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое...» — дочитаю про себя, зачитаюсь... поставлю точку. Аминь.

Совсем недавно умер близкий друг художник Николай Андронов. Вижу и слышу как бы возбужденное, смятенное горе вдовы его, художницы Натальи Егоршиной.

Но было и предначало. Это Коля Андронов заведомо представил меня и Бориса тете Дюне — иначе не живать бы нам в ее избушке: строго опасалась она новых, сторонних людей. Но дверь не запирала — подпирала палкой, вторая, не запретная, была ее подмога: клюка и посох.

Задолго до того, в пред-предначале фабулы, состоялся знаменитый разгром художников, косым боком задевший и меня, и моих, тогда не рисующих, друзей. Сокрушенный земным громом, Коля подыскал и купил за малые деньги опустевшую, едва живую избу в деревне Усково, подправил ее, стал в ней жить, постепенно вошел в большое доверие деревенских жителей. Пропитание добывал рыбной ловлей и охотой. Тогда маленькая, теперь двудетная, дочка Машка говорила: «Я — балованная, я только черную часть рябчика ем». Так что — благородной художественной бедности сопутствовала некоторая вынужденная роскошь.

Я застала в еще бойкой, внешне свирепой, резвости чудесного их пса — скоч-терьера по имени Джокер. За косматость и брадатость в деревне дразнили его за глаза — Маркс. Недавно Наташа сказала мне, что думала: это — мной данное шутовское прозвище. Куда там, мне бы и в голову не пришла такая смешная и не обидная для собаки складность. Джокер-Маркс, весьма избирательный и прихотливый в благосклонности к человеческому роду, был ко мне заметно милостив — в отличие от его ненастоящего тезки, терзавшего меня в институте, вплоть до заслуженного возмездия и исключения. Потомок родовитых чужеземных предков нисколько

не скучал по Шотландии, вольготно освоился на Вологодчине, ярко соучаствовал в хозяйских трудах и развлечениях, но посягновений окрестной фамильярности не терпел.

Мне грустно, Коля и Наташа,
как будто в нежилой ночи
деревня Усково — не наша,
и мы — уж не ее, ничьи.
Сиротам времени былого
найти ль дороги поворот,
где для моления благого
сошлись Кирилл и Ферапонт,
где мы совпали, возлюбивши
напевных половиц настил,
где шли наведывать кладбище
и небородный Монастырь.
Умением каких домыслий,
взяв камушек, да не любой,
творил — всех лучший! — Дионисий
цвет розовый и голубой,
и съединял с надземно-желтым,
навечно растерев желток?
Вдобавок — выпал сердцу Джокер
и в нем, покуда есмь, живет.
Слова бумаге не солгали.
И говорю, и повторю:
ниспосланные нам Собаки
при нас и после нас — в раю.
И мне был рай: в небес востоке
начавшись, медленно плыла,
удвоясь в озере, светелке
принадлежавшая луна.
Здесь нет ее, она — в деревне.
Я не бедна, я — при луне.
Светло Наталии даренье
луны, преподнесенной мне.

Есть счастье воли и покоя.
Строке священной не хочу
перечить — и перечу. Коля,
прими приветную свечу.

В конце семидесятых — начале восьмидесятых годов стала я особенно ненасытно скучать по северным местам, по питательным пастбищам их сохранный речи. Очень был заманчив Архангельск — понаслышке, по упоительному чтению Шергина и о Шергине. Притягивала пучина сказов, песен, поверий Белого моря, но устрашали все беломорские направления: Каргополь, другие незабвенно смертные места. Впрочем, с пагубой таковых мест в моей стране нигде не разминешься.

Помню, как Надежда Яковлевна Мандельштам, до последних дней (умерла 29 декабря 1980 года) кутившая «Беломор», удерживая кашель, указывала на папиросную пачку: на предъявленную карту злодеяний, на вечную память о лагерных мучениках. Мне ли забыть изысканную худобу ее долгих пальцев: дважды мы, по ее бескорыстному капризу, подбирали для нее колечко с зеленым камушком — одно в магазине, вместе с ней, в день ее рождения (31 октября), другое передала через нас Зинаида Шаховская, Надежда Яковлевна думала: Солженицын. При мне, по указанию Бориса, форматор, испросив вспомогательного алкоголя, снимал посмертную маску с ее остро-прекрасного лица и правой руки. Оба гипсовых слепка хранятся у нас. О Надежде Яковлевне, надеюсь, будет мой отдельный сказ.

До Белого моря мы не добрались, пришлось обойтись Белым озером. Тогда-то и затеял Андронов нахваливать нас тете Дюне. Она ответствовала: «Если ты не пригнул мне, что они такие незлые люди, — мне с них ничего не надо, зови». И мы двинулись.

Путь известный: Загорск, Переславль-Залесский, где и сделала подробную остановку. В ту пору работал там старый друг и однокашник Бориса по Архитектурному институту Иван Пуришев. Тяжкие его труды напрямую были касаемы охраны памятников старины и состояли из непрестанной битвы: было от кого охранять. Туристы — нужны, но урожденный и воспитанный долг велит рушить и разорять. В побоище этом подвижник Иван был слабейшей, но

доблестно оборонительной стороной. Кроме созерцания знаменитых заглавных храмов и Плещеева озера, где кораблестроил и флотоводил начинающий Великий Петр, предстояли нам горячие объятия, рассказы с древним истоком, усадные застолья.

Одна Иванова тайна ранила и поразила. Это была его любимая печальная забота: на отдаленном затаенном возвышении маленькая, незапамятного (не для Ивана) века, прескорбная, пожалуй, скорбнейшая из всех виданных, церковь — Троицкий собор Данилова монастыря. Ключ от нее уберегал сражатель Иван.

Стены многогорестной церкви, словно вопреки пресветлому прозрачному Дионисию, расписал самородный, страстный, страдающий мастер, как бы загодя противоборствующий нашествию истребительных времен. Невыразимо печален был взор Божией Матери, словно предвидящий — что произойдет через тридцать три года с осиянным Младенцем, ушедшим из ее охранительных рук, суровы и укоризненны лики Апостолов и Святых угодников. Весь внутренний объем купола занимал страдальческий образ Иисуса Христа.

Страшно убитвище никогда не мирного времени. В церкви размещалась некогда воинская часть, используя оскверненный, опоганенный приют как развлекательное стрельбище. Все изображения были изранены тщательными или ленивыми пулями, наиболее меткие стрелки целились в очи Спасителя, так и взирает Он на нас простреленными живыми зрачками с не упасшей его высоты. Душераздирающее зрелище многое говорило о Его временной смерти, о нашей временной жизни.

Пред выходящим посетителем представала ужасающая картина Геенны огненной: алый и оранжевый пламень, черный дым, терзающие уголья, кипящие котлы, извивающиеся в мучениях, вопиющие и стенающие грешники. О чем думал грозно вдохновенный живописец, для нас безымянный: предостерегал ли, сам ли страшился и каялся, проклинал ли ведомых ему нехристей? Как бы то ни было, не убоились его предупреждающего творения вооруженные недобрые молодцы.

Пришлось Ивану утешить нас лаской и опекой, чем он и теперь занимается время от времени.

Далее — сначала возмерещился вдали, потом вблизи явился сияющий куполами и крестами Ростов Великий. Подновленный при-

гожий блеск — приятная приманка для странников, желательно: чужеземных, но сошли и мы, особенно в мимолетной захудалой столовой, где то ли после заутрени, то ли небожно вкушал пиво воскресный люд. С удовольствием ощущая свою не-иностранность, приглядывались к пивопивцам, прислушивались к говору, приближающемуся к искомому. Затем — обозрели храмы, радуясь на множественных прихожан и отлично нарядных проезжих гостей, подчас крестившихся слева направо. Посетили трогательные окраины с престарелыми, дожившими до наших дней, когда-то процветавшими купеческими и мещанскими домами.

Миновали под вечер Карабиху, оставив ее себе на обратный путь, ночевали в Ярославле, в гостинице на берегу Волги, неожиданно оправдавшей свое название и предложившей нам пустующий «люкс». Но в этом лакированном и плюшевом «люксе» вспомнила я эпизод своего девятилетнего детства. Отец мой Ахат Валеевич за годы войны, раненый и контуженный, но уцелевавший в поблажках госпиталей, довоевался до медалей, ордена и звания майора. Двадцать лет, как он погребен, и остался у меня от него только гвардейский значок, да относительно недавно пришло письмо от его, много младшего, однополчанина, которое Борис прочел мне выразительно, как я тете Дюне ее «грамотку». Писано было про храбрость и доброту моего отца, про возглавленный им выход из опасно сомкнувшегося вражеского окружения к своим. Все это мне было грустно и приятно узнать, но клоню я к тому, что по новому его чину ему полагался ординарец, Андрей Холобуденко, тогда совсем юный и красивый, теперь — не знаю, какой. Я его очень помню, он дважды приезжал к нам в Москву с вестями и гостинцами от отца с побеждающего и победившего фронта. Так же сильно помню неразрывного с отцом военного друга добрейшего Ивана Макаровича. По окончании войны Андрей стал звать отца в разоренную Украину, Иван Макарович — в нищую Ярославщину, где сделался председателем доведенного до отчаяния колхоза. Отец думал, думал, примеривая ко мне обе красоты, оба бедствия. Надо было обживаться в чужом послевоенном времени, устраиваться на работу. Летом сорок шестого года выбрал Ивана Макаровича и малую деревеньку Попадинку. На Украине я побывала потом. И деревне Попадинке, где питалась исключительно изобильной переспелой земляникой, и хутору Чагиву, где по ночам с хозяйкой Ганной воровала

жесткие колоски, — будут, если успею, мои посвящения, сейчас — только об Ярославле. Ехали мы туда в тесноте поезда, по которой гуляли крупнотелые белесые вши. Город успел осенить меня не белостенностью, не смугло-розовой кирпичностью, а угрюмым величественным влиянием — наверное, вот почему. Иван Макарович прислал за нами состоящий из прорех и дребезга грузовик. Родители поместились в кузове, я — рядом с водителем, явно неприязненным и ожесточенным, видно, хлебнувшим горяшка. Мы прогромычали по городу, вдруг он круто затормозил возле мрачного здания, я ударилась лбом о стекло — на то оно и лобовое. Он обо мне не сожалел, а уставился на длинную, понурую, значительно-примечательную очередь, и я стала смотреть на схожие до одинаковости, объединенные общей, отдельной от всех тоской, лица, будто это был другой, чем я, особо обреченный народ. Я подобострастно спросила: «Дяденька, а за чем эти люди стоят?» Он враждебно глянул на меня и с необъяснимой ненавистью рывкнул: «Затем! Передачу в тюрьму принесли». Отец постучал в крышу кабины — и мы поехали. Видение знаменитой Ярославской тюрьмы, лица, преимущественно женские, врозь съединенные бледно-голубой, как бы уже посмертной затенью, надолго затмили землянику, Волгу, милую изнемогшую Попадинку и теперь очевидны. Можно было бы взглянуться в приволжское пятилетие моей жизни, когда, в Казанской эвакуации, слабо гуливала я вкруг Черного по названию и цвету озера, вблизи тюрьмы, где в год моего рождения изнывала по маленькому сыну Васеньке Аксенову Евгения Семеновна Гинзбург, но безвыходный затвор я смутно видела и вижу — ко мне тогда уже подступало предсмертие беспамятной голодной болезни.

Описывать удобное наше ночевье в ярославской гостинице и воспоследовавшее обзорное дневье не стану — поспешаю, как впервые, к тете Дюне.

Уклоняясь от прямого пути, как я сейчас уклоняюсь, заезжали мы и в Борисоглебск, тогда называемый иначе, но действовали церковь и строка Пастернака: «У Бориса и Глеба — свет, и служба идет».

Возжигая полночную свечу, воздумаю о Преподобном Ефреме Сирине и о втором, но не Ефреме, в согласии души — не менее первом, ясно: кому посвящена ясногорящая свеча.

Отцы-пустынники и дѣвы непорочны
не отверзаютъ попусту уста.
Хочу писать, не мудрствуя, попроще, —
нѣтъ умысла сложней, чѣм простота.
Избранникомъ настигнута добыча —
но к ней нзвелистъ путь черновнка.
Иль нѣвзнать мигъ ему блеснулъ — да вышло:
Званъ быстрый блескъ во многія вѣка.
Взираетъ затишь ночи окомъ синимъ —
и я отвѣтно пялю взоръ въ окно.
Словамъ, какими Преподобный Гиринъ
молился Богѹ, — внялъ и вторилъ Кто, —
не укажѹ, чтобъ имени не тронѹтъ:
Оно и такъ живетъ насторожѣ...

...Но Тотъ, о Комъ нѣмотствую, должно быть,
смѣется — я люблю, когда смѣшливъ.
Во мнѣ такія нѣжность и незлобность,
цѣлюя воздухъ, спѣлись и сошлись.
Забава упражненья неказиста —
челомъ ей вью и множицей воздамъ.
Неграмотность ночного экзерсиса
проститъ ли мнѣ усмѣшкой добрый Даль?
Родимой речи на глухомъ отшибѣ
кто навѣститъ меня, если не онъ?
Не просвѣтилъ щервы и ошибки
текущий выпрь, свѣчи прилежный огонь.
Закончу ль ночи списокъ неподробный,
пока спѣшитъ и бодрствуетъ високъ?
Простилъ бы только Гиринъ Преподобный:
послал смиренный, благодатный сонъ.
Опять мое ночевье не снотворно:
ужъ предъ-рассвѣта приоткрылся зракъ.
Не опытно, не вѣдуще, не твердо —
пустъ букву «еръ» слѹкавитъ гвердый знакъ.

А я все еще вязну в любезных мне, затягивающих заболотьях «ерь» и «ять» и мутных, дымных загородьях Ярославля. Но и без меня — «понявы светлы постланы, Ефрему Сирину наволоки». Тетя Дюня моя, до коей все Ёду и Ёду, называла «понявой» и повязь платочка вокруг головы, и фату, хоть при утаенном венчании и обошлась бѣлой «косинкой» — наискось, в половину треугольника сложенным, шелковым бабкиным платом. На предродителей грѣхъ вѣнца, усиленный покражей плата из сундука, трачу я последние трудоемкие «ять» и «ерь». Всю жизнь замаливала этот грех тетя Дюня, а велик ли грех, что великим способом любила она грешника Кузьму: он и бивал ее, и на сторону хаживал, а что на колхозных насильных супостатов выходил с плотницким топором — грех за грех считать: он на германской войне расхрабрился. Бывало-живало: голубчика своего врагом, погубителем рекла тетя Дюня, ловко уклонялась от хмельного натиска и напада. «Молода была — со грехом жила, теперь труха — все не без греха! — туманилась, улыбочиво вспоминала, как сломя голову пошла за Кузю. Умела стаивать против угрозы отпором и отдачей: «Мужик — топор, баба — веретено». Обо всей этой бывальщине доложу в медленном последствии свече и бумаге. Сколько раз я при них «оканунилась», съединив ночи и дни последнего времени.

Пока я одолевала раняще невздолжные, невзгодные предгородья Вологды и прощалась со старословием, оно самовольно вернулось и вновь со мной поздоровалось:

Семѹ и онымъ днямъ
привѣтственнѹю дань
вновь посылаетъ длань.
Прости, любимый Даль.
Для ласки не совравъ
надеровію тавра,
отвѣтствовалъ Словарь:
— Я не люблю тебя.
Нелестенъ фиміамъ
невѣрного Фоми.
Аз по грѣхамъ воздамъ:
не тронь моей «фиты».

Измучивъ «ять» и «ерь»
разгильною рүкой,
ты «ижицы» моей
тревожишь «үпакой».

Мнѣ внятна мовѣ свѣчи:
— Тщемудрія труда
на-нѣтъ меня свели.
Я не люблю тебя.
Гашу үкорный свѣтъ,
Моей свѣчи ответъ.
Мнѣ бы свѣчу воспѣтъ —
а близокъ срокъ: отпѣтъ.

Смотрю со сцены въ залъ:
Я — пүтникъ, онъ — тайга.
Безмолвилъ, да сказалъ:
— Я не люблю тебя.
С начинкой заковыкъ
нелакомый языкъ
мой разумъ затемнилъ.
Будь, где была, изыдь.

Я не кормлю всеядъ,
и «ять» моя — темна.
Все мнѣ вольны сказать:
— Я не люблю тебя.

Любить позвольте васъ
въ моемъ свѣчномъ үглү.
Словъ неразъемна власть:
«люблю» и «не люблю».
Изъ втүнгѣ не свяжү,
я вѣрю во звѣздү:
полүнощи свѣчу
үсердно возожгү.

Мужъ подошелъ ко мнѣ,
провѣдалъ мой насѣстѣ.
Зачеркиваю «не» —
Оставляю то, что есть.
Есть то, что насъ свело:
безмолвіе любви.
Во здравіе твое —
Свѣча и с точкой i...

Мирволь и многоточь,
февральскій первый день,
вѣрней — покаместѣ — ночь:
школяръ и буквобѣдъ.
Есть прозвище: «фита» —
момѣтѣ ночамъ-утрамъ.
До «нижицы» видна
свѣча — стола упархъ.
Не дамъ ей догорѣть.
Чиркъ спичкой — и с «аза»
глядятъ на то, что есть,
всенощныя глаза...

Державинскихъ управъ
витаютъ «Снигири».
Глаза — от зла утратъ —
сѹхи, горьки, голы.
Иной свѣчи упархъ
достигъ поры-горы.
«Неистов и упрям,
гори, огонь, гори...»

* * *

Прощай, прощай, моя свеча!
Красна, сильна, прочна,
как много ты ночей сочла
и помыслов прочла.

Всю ночь на языке одном
с тобою говорим.
Согласны бодрый твой огонь
и бойкий кофеин.

Светлей ΘΕУРГИИ твои
кофейного труда.
Витийствуя, красоты твори
до близкого утра.

Войди в далекий ежедень,
твой свет — не мимолет.
Сама — содеянный шедевр,
сама — Пигмалион.

Скажу, язычный ΘΕΟΓΕΝ,
что Афродиты власть
изделием твоих огней
воочию сбылась.

Служа недремлющим постам,
свеча, мы устоим,
застыл и мрамором предстал
истекший стеарин.

Вблизи лампадного тепла
гублю твое тепло.
Мне должно погасить тебя —
во житие твое.

Иначе изваянья смысл
падет, не устоит.
Он будет сам собою смыт
и станет сном страниц.

Мои слова до дел дошли:
я видеть не хочу
конец свечи, исход души —
я погашу свечу.

Безогненную жизнь влача,
продлится тайный свет.
Уединенная свеча
переживет мой век.

Лишь верный стол умеет знать,
как чуден мой пример:
мне не светло без буквы «ять»,
и слог не впрок без «ерь».

Чтоб воскурила ΘΙΜΙΑΜЪ
свече — прошу «фиту».
Я догореть свече не дам,
я упасу свечу.

Коль стол мой — град, свеча — VPATЬ —
все к «ижице» сведу,
не жалко ей в строку упасть...
Задула я СВЪЧУ.

Я не раз от души заманивала тетю Дюню к нам зимовать, да обе мы понимали, что не гостить ей у нас так хорошо, как нам у нее. Лишь однажды, еще в бодрые горькие годы, кратким тяжелым проездом в плохое, «наказанное», место, отбываемое дочерью, краем глаза увидела и навсегда испугалась она Москвы, ее громадной и враждебной суетолич.

Я вспоминаю, как легко привалилась в деревне Усково управляться с ухватом и русской печью. Нахваливала меня, посмеиваясь, тетя Дюня: «Беля, ухватиста девка, даром что уродилась незнамо где, аж в самой Москве».

Один день кончается, другой начинается, на точной их границе, по обыкновению, возжигаю свечу — в привет всем, кто помещен в просторном объеме любящего хлопочущего сердца.

Большая сильная свеча давно горит — «надолго ли хватит?» — и украшает себя самотворными, причудливыми и даже восхитительными, стеаринными изделиями, витиеватыми, как писания мои. Пожалуй, я только сейчас поняла, что их неопределенный, непреднамеренный жанр равен дневнику (и ночнику), и, стало быть,

ни в чем не повинны все мои буквы и буквицы, пусть пребудут, если не для сведения, то на память, хоть и об этом дне, понукающем меня кропотливо спешить с раздумиями и воспоминаниями.

Что касается многих слов моих и словечек, — они для меня не вычурны, а скорее «зачурны» (от «чур»), оградительны, заговорны. Не со свечой же мне заигрывать и миловидничать.

Не только к Далю — всегда я была слухлива к народным говорам и реченьям: калужским и тульским, разным по две стороны Оки, например: «на лошадѣ» и «на лошади», «ангел» и «андел», так и писала в тех местах. «Окала» в Иванове-Вознесенске, но никогда не гнушалась неизбежных, если справедливых, иностранных влияний, любила рифмовать родное и чужеродное слово, если кстати. Не пренебрегал чужеземными словесными вторжениями, подчас ехидно, а в Перми и «ахидно», сам народ.

Но не пора ли приблизиться к достославному городу Вологде?

При въезде, до осмотра достопримечательностей, с устатку дороги, сделали мы привал в приречном, пристанном ресторанчике. Спросили нехитрого того-сего и — опрометчиво — масла. По-северному пригожая, светловолосая и светлоглазая официантка гордо ответила, что об этом ястве имеются только слухи, но за иностранных туристов нас все-таки не приняла. Хорошо нам было сидеть, глядячи на необидно суровую подавальщицу, на захожих едоков, а больше — питоков, на реку, одноименную предстоящему городу.

Немногие колонны и арки старинных усадеб уцелели в претерпевшей многие беды Вологде. Это там архитектурно образованный Борис начал менять властное влияние Палладио на трогательное старо-русское и, в последовательно извращенном виде, предсовременное «дворцовое» зодчество. Первый вариант портиков, фронтонов и порталов как бы приходится Италии благородно потомственным и преемственным, второй — криво-косвенным, но зримым отражением учения Палладио. Приблизительно так толковал мне Борис, уточняя слова рисунком, приблизительно так не однажды воспето мной. Урок, посвященный обаянию Андреа Палладио, для него неожиданный, но не обидный, а приятный, окрепнет и усилится в городе Белозерске — если достигнем его, как некогда бывало.

Долго разглядывала картинку Бориса: старый господский дом с гостеприимным порталом, с колоннами (коринфскими, доричес-

кими или тосканскими — не указано) с приросшими галереями, флигелями, можно довообразить въездную аллею, беседки, пруд... Хорошо: наводит на многие мечтания и грусти.

Отдаляя дальнейший тяжкий путь, минуя Вологду, вспомню родившегося и похороненного в ней Батюшкова. До ослепительности ярко и явно вижу я мало описанную (может быть, по неведению моему) сцену, когда страждущего, терзаемого пылким затмением умственного недуга Батюшкова проведаль добрый, сострадающий Пушкин. Больной посетителя не узнал.

Привожу несколько четверостиший из давнего, не разлюбленного моего стихотворения.

Мне есть во что играть. Зачем я прочь не еду?
Все длится меж колонн овражный мой постой.
Я сведуща в тоске. Но как назвать вот эту?
Не Батюшкова ли (ей равных нет) тоской?

Вспомнила стихи, что были им любимы.
Сколь кротко перед ним потупилось чело
счастливого певца Руслана и Людмилы,
но сумрачно взглянул — и не узнал его.

О чем, бишь? Что со мной? Мой разум сбивчив, жарок,
а прежде здрав бывал, смешлив и незлобив.
К добру ль плутает он средь колоннад и арок,
эклектики больной возляпье возлюбив?

Кружится голова на глиняном откосе,
балясины прочны, да воли нет спастись.
Изменчивость друзей, измена друга, козни...
Осталось: «Это кто?» — о Пушкине спросить.

Из комнаты моей, овражной и ущельной,
не слышно, как часы оплакивают день.
Неужто — все, мой друг? Но замкнут круг ущербный:
свет лампы, пруд, овраг. И Батюшкова тень.

Путь от Вологды до поворота (ошуюю) к Ферапонтову помнится и исполняется тяжким и долгим, потому что одесную сопровождается скорбным простором Кубенского озера с высоко сиротствующей вдали колокольной Спасо-Каменного монастыря. Я смотрю не в справочник, а в путеводную память и передаю бумаге, не точь-в-точь, а окольно то, что слыхивала. Сказывали примерно так. В давние времена, когда не горело еще наше киянское озеро — а разве горело оно у вас? — то-то и есть, что нет, но плыл по нему царь со свитою — а какой? — это мы — всякие, и такие, и сакые, а он — известно, какой: всего царства царь, и с ближними слугами. Плыли они в пучину, а попали в кручину: напал на них чомор — а кто это? — и не надо тебе знать, его назовут, а он подумает, что зовут, может, и с царем так было, может, из гребцов кто помянул его нечисто имя, а он и рад прежде слуг служить: вздыбил, взбурлил воду, стали угрозные волны бросать их аж до низких туч, и поняли пловцы, что пришла их смерть. Тогда взмолился земной царь к небесному, покаялся во всех грехах, и за то прибило их к отрожному острову, всему из камня. После утишья, когда заутрело, заметили они, что целиком спаслись и берег близко. Царь этого случая Богу не забыл и велел поставить на том месте благодарственную часовню. Дальше — стал монастырь: Спас-Каменный.

В случае с царем все обошлось Боголюбно и Богоспасаемо. Пока шедшее к нам время еще пребывало от нас вдали, пригляделся к часовне отшельник, потянулись другие монахи, воздвигли Богосюзную обитель, проложили от своих камней до суши сильную каменную тропу, свершали по ней хождения в Пасхальный Крестный ход. Богоугодный порядок продолжался до конца прежних времен и начала наших, когда многими званный чомор с охотою откликнулся, явился во всей грозе: монахов и паломников разогнали и изничтожили, монастырь, за неудобством несподручного расстояния, взорвали в запоздавшие к нему тридцатые годы. Колокольная — устояла.

Во всю длину озера и высоту колокольной приходилось горевать, пока не скрывались они из озору, за озором.

В тех местах говорят изредка: озор, что подходит озеристому краю по звуку и пространной необозримости.

Тогда, уже в давности, добравшись до Ферапонтова, мы лишь снаружи оглядели знаменитый монастырь, благоговейно дивясь его стройной внушительности. В дальнейшие дни и лета бесчисленно наведывались мы в его пределы и на прилегающее к нему кладбище.

Миновав почти нераздельные деревеньки и озера, с прибрежными огородами и баньками, достигли Ускова, легко нашли Колю Андронову, Наташу и Джокера. Когда, предводительствуемые Колей, подъехали к избушке тети Дюни, увидели, что дверь подперта палкой. «Куда же Дюня делась? — удивился Коля. — Ведь обещала ждать».

Она и ждала — затаившись в недалекой сторонке, опершись на свою «ходливую» палку, с предварительной зоркой тревогой вглядываясь в незнакомых гостей.

— Ну, с прибытием вас, — строго сказала, неспешно приблизившись, тетя Дюня, — пожалуйста в мою хоромину.

Крыльцо, сенцы с полкою для тщеты припасов, для пользы трав, налево — две комнаты, в первой — стол под иконами, лавки, при входе — печка, кровать за ситцевой занавеской. Вторая — гостевая спальенка, где мы быстро обжились и надолго прижились.

Я упомянула вскользь сторожкую зоркость впервые поджидавшей нас тети Дюни, вскоре смягчившуюся до ласкового, заботного выражения. Подобную пронизательную зрячесть видела я у деревенских жителей, у особо урожденных, наособь живших людей (Шукшин, Вампилов), у тех, чье избранное рождение умножено и усилено безошибочным опытом больших испытаний (Солженицын). Так, думаю, взглядывал и глядел или не глядел Пушкин, наипервое, наиболее — так.

Тетя Дюня остро и ясно видела и провидела — и напрямик, и назад, и вперед. Яркое видимое ею давнее прошлое, оставшееся позади, я жадно присваивала, «присебривала», предстоящее, без хорошего ожидания, с хорошим пожеланием молитвенной опеки, относилась она к тем, кого любила, без горечи оставляя себе — известно, что.

В этом году тете Дюне исполнилось бы сто лет — точно или около первого марта, многозначного дня Евдокии: имя одно, прозвищ несколько, все с приметами, с предсказаниями. Поговорка: «с Евдокеи погоже — все лето пригоже» ко многим летам тети Дюни

могла быть применима в обратном, пасмурном, смысле. С подлинной датой рождения приходилось «недомеком мекать»: церковное свидетельство не сохранилось, паспорт, запоздавший на большую часть жизни, день, да, кажется, и год указывал наобумно, «по-сельсоветовски», документ редко надобился, я его не читала.

Когда для других чтений я надевала очки, тетя Дюня жалостливо говорила, приласкивая мою голову: «Ох, Беля, рано ты переграмотилась, не то что я».

Вскоро и постепенно мы с тетей Дюней близко и крепко сдружились и слюбились. Наш первый приезд и все последующие теперь слились для меня в одно неразлучное свидание, хотя долгие перерывы тех пор были обеими ощутимы и утешались через Андронova — Егоршину, много жившими в деревне.

Тетя Дюня, чем дальше, тем открытее передо мной не таилась, не «утаймничала». Я, по ее допуску, проникалась ее жизнью, но даже не пытаюсь вполне передать складность и «талантность» ее речи, тоже не соблюдавшую порядок летоисчисления возрастов и событий.

Младенчество и детство ее были не балованные, но светлые, счастливые. «Тятенька-маменька, нежьте, пока маленька, вырасту большинская — занежат бесчинствия». Может, и другие так говорили, но многие слова сама рассказчица сочиняла. Повторяла, имея в виду свою малую бесплотность и потомственные поколения: «Глянь, Беля, какая я плохая-никакая, а какой большинский народ наплодила».

Грамотой ее сызмальства были разные рукоделия, молочная и печная стряпня, пастушество, дойка, обихаживание скотины и птицы. Множилось приданое: кружева, полотна, насережные камушки. «Придано — не отдано».

Еще девочкой выглядела Дюня приметного, норовистого, опасного Кузьму Лебедева, уже вошедшего в «наусье», и он ее цепко выbral. Сказал: «Ты пока спей, но знай — я от тебя не отзарюсь».

— Я и знала, — вспоминала старая Дюня, Евдокия Кирилловна, — сразу поверила, что недолго мне хороводить, лентами баловаться, не миновать судьбы-Кузьмы, не глядя на родительский запрет. У других девок — посиделки, припловухи... — а что это: припловухи? — а это, когда отец с матерью дочерей-невест на показ на ярмарку в Кириллов или в Белозерск возили. Там по езеру на лодке, груже-

ной приданым, плавают, а фуфыры-девки на берегу сидят, очи долу, а женихи ходят, глядят, промышляют себе добычу. Да, мной не плыто, а Кузьмой добыто.

Когда, после ранения, вернулся с войны brave Кузьма, жили они поначалу ладно, слюбно и сытно. Хозяин плотничал, кожевничал — больше по конскому, упряжному делу. Держали лошадей, двух коров, другую живность. Но дошли и до них напасть и разор, начав с начала: с Ферапонтова монастыря. Тетя Дюня ярко помнила, горько рассказывала, как мужики — топорами и вилами, бабы — воплями пытались оборонить свою святыню и ее служителей и обитателей, да куда монаху против разбойника, топору против ружья. В это лютное время родился старший сын Николай. И потом все дети рождались словно не от любви, а от беды и ей же обрекались.

Но самая лютость еще гряла: раскулачиванье. Бедными были и слыли эти предсеверные места, а губили и грабили — щедро. С непростедшим страхом, горем и стыдом скупо рассказывала тетя Дюня про отъятие живого и нажитого добра, про страдания скотины. Многожды крестилась при нечистом имени председателя, всех подряд заносившего на «черную доску», быть бы на ней и топористому Кузьме, да откупалась Дюня, как могла, мужниными и своими уменьями-рукодельями, остатками бывшего имущества. Приходилось, сломив гордость, словесно угодничать, лебезить: «Была Дюня Лебедева — стала дура лебеЗева». Но и председатель не до конца добровал: из вины ушел в вино, снизился и кончился.

Уже в сороковые годы, глухой ночью, постучался к Дюне в окно, назвался знакомым именем один из бывших соседей, сосланных в Сибирь, хоть и ближе север был. В избу не просился, попросил хлеба: лучше в окно подать, чем под окном стоять. Тетя Дюня проверила занавески, пригасила коптилку, завела неузнаваемого гостя в дом. У нее ничего, ни настольного, ни отстольного, не было — только гороховый кисель. Кормила тем, что было, выслушала страшный доверительный сказ. Давний этот «нетчик» (в отсутствии бывший) такой был бедяга, словно и не белосветный человек. Ушел до свету — и канул.

В двадцатые — тридцатые лихолетья родились Вера, Александр, известный округе и мне как Шурка, и — под самый конец бабьего долга, с позднего горяча, — поскребыш, любимец Алексей.

Кузьма работал хорошо, но пил и буянил — не хуже. Загуливал по дням и ночам, потом оттруживал.

Худшей из всех его прокуд для тети Дюни была его привадка к моложавой заманистой вдове, мелкой, да ученой, колхозной начальнице — счетоводу или близко к этому чину.

С неутешным удовольствием, с гордым чувством правого поступка поверяла мне тетя Дюня, как еще безпалочным пехом, воински пошла она к разлучнице на пост при счетах и в зачарованном кругу свидетелей выдрала из ее счетоводно-греховодной головы крашенный белым, а снизу рыжий клочок волос. После этой битвы Кузя — как очнулся, навсегда вспомнил: кто ему жена, а кто — счетовод. Загоревал, завинился, закался — «как старый черт, что по схиме заскучал, да в музее-то не замонашествуешь». Перед смертью тосковал, хворал, жался к Дюне, как свое же дитя.

Я его видела только на фотографическом настенном портрете, с которого он зорко и враждебно глядел на снимателя и прочую скуку. (Были и немногие маленькие блеклые карточки, не передающие его характера.)

Из Кузиных и Дюниных детей первым увидела я меньшого, любимейшего — Алексея, но не живого, а тоже портретного, рядом с родителем, который хоть и сдерживал привыкшую воевать и бедовать свирепость для насильного торжественного момента, но обещал привечать будущего незваного созерцателя. «Так-то, Кузя, еще на день я к тебе ближе», — прощалась с ним по вечерам тетя Дюня. Алексей же, не тяготясь мирной солдатской одеждой, как веселым нарядом, открыто сиял доверчивыми глазами, пригожим лицом, всей молодой беспечной статью. «Эх, Лексеюшка, зауспокойная головушка, йметя ли тебешеньке на Господних небесех?» — причитывала, кратко всплакивала тетя Дюня, имея для этого бесконечного случая сбереженный и питаемый прибылью горести запас двух аккуратных слезинок.

Уже позже, сильно попривыкнув ко мне сердцем, закатными и стемневшими в ночь вечерами, ведывала мне тетя Дюня о любимом отдельно от всех, «последышном» своем дитятке:

— Вот, Бея, ты, что ни день, видишь, каковы мои Николай и Шурка: один смурый, другой — суматошный, сыздетства такие были. И то сказать, на худом молоке росли, мякиш сушили, травой

подпитывались. Николая полуночица мучила (плакал по ночам), Шурка — и при груди озоровал: уже нелепой начинался. А Лексешка, заупокойная его головушка, словно нарзны от всех уродился, да так и было: стыдилась я, немолодица, брюхо деревне предъявлять, потычищем стала. (Пальцем тыкали.) Кузя тоже тупился, даром что ни с кем наравне не жил. Надо мной насмешничал: «Я тебя не просил семейство большить». Я ему тоже смехом отвечала: «Твое дело постороннее, и я не просила, а Бог послал». И взаправду — в утешенье послал и не взял бы до времени, люди направили. У Кузи своя была собь — Верка, ей дитем добром жилось, уж потом злом отдалось, да ты знаешь. А Лешенька — мой собственный считался, как в чреве был, так и дальше близко держался: все при мамке и все к мамке ластится.

Замуж Дюня пошла, как она говорила, а я повторила: «самоходкою» — а детей крестила тайной «самоволкою», с затруднениями и ухищрениями, за что тоже грозила пространная «черная доска», в деревне секретов не бывает.

Леша был хороший и хорошенький ребенок, дошколье провел с матерью в колхозном коровнике, встречаемого быка не боялся, коров обнимал, телят целовал. Доярки его ласкали, молоком питался досыта. Если кто пугался порчи от «сглазчивого» человека, бабы просили Дюню прислать Лешку — отвести лихо светлотой лика, что безотказно исполнялось.

За службу коровам и государству тетя Дюня, уже в старости, получила маленькое печатное награждение, которым не дорожила, никогда не забыв мученичества двух родных коров, отобранных и погубленных. Положенных денег «счетовод» не выписала. Впрочем, это я от себя говорю.

Учился Алексей с прилежной радостью, после семи классов работал с отцом и сам — до армии, где служил охотно и покорно, начальство хвалило здравую и здравоумную вологодскую «кровь с молоком». К этому, прежде расхожему выражению, по поводу других, иногда совместных с ним, разнообразных человеческих качеств тетя Дюня подчас пририфмывала «дурь с кулаком». Счастье Алешина возвращения домой было густо омрачено предсмертной тоской, а затем и смертью отца.

Алеша плотничал, сладил, с помощниками, для дальнейшей семейной жизни избу — вплотную к родительской, с отдельным вхо-

дом. Он влюбился — и не один, а вдвоем с товарищем. Девушка была сдержанно милостива к обоим, но обоим и помалкивала. Неожитая изба поджидала, держась стены материнского дома, как он когда-то материнской юбки.

Однажды, снежным вечером, пошел он в Ферапонтово на танцы, предварительно чисто побрившись и принарядившись. В клубе танцевал с девушкой, честно меняясь очередью с товарищем. Когда она, с намеренным беспристрастием, танцевала с кем-то другим, они украдкой понемногу выпивали. Послушный матери, он ушел раньше, но домой не пришел. Мать тревожилась, корила девушку, но больше молилась.

Утром прохожие нашли его мертвым на середине дороги от Ферапонтова до Ускова. Туда повлекли под руки обезумевшую Дюню, обманывая ложной надеждой. Она пала на тело сына, пытаясь оживить его своей жизнью, но сама застыла вместе с ним и не помнила, как сперва ее отняли от Алеши, потом его от нее.

Следствие установило, что Алексей, будучи нетрезвым, заснул на дороге, может быть, поджидая товарища, который провожал девушку и ничего не знает, свидетельница подтвердила, что провожал, большего не знает. По спящему проехал трактор, задержавшийся в селе для несбывшейся починки фар, что подтверждает МТС.

Было много несовпадений и недоумений, но дело, за туманностью обстоятельств и недоказанностью чьей-нибудь, кроме рока, вины, закрыли. Алешу похоронили. О следующем времени тетя Дюня помнила лишь, что оно, словно удушливым черным войлоком, окутало всю ее голову вместе с разумом и ослепшим лицом.

В то же время деревня написала в Вологодскую прокуратуру, что она об этом деле думает. Трактор Алешу действительно задавил, но не спящего, а убитого, доказательства тому имеются.

Приехали новые следователи, искали не подписавшихся заявителей — и не нашли, заново допрашивали девушку, но ничего яснее плача не добились. Пробудили тетю Дюню. Она твердо возбранила тревожить могилу сына и сказала, что расследование было правильное, на самом деле так же твердо зная, что это не так. «Юрчи-сты» с облегчением уехали.

Мне она, много лет спустя, объясняла так:

— Мне их дело было чужое, мое дело было в Лексеюшке, а не в том, чтобы его «дружка»-погубителя в тюрьму засадить и тем его

мать извести, у меня у самой двое детей — тюремные. А правду все знали, и я знаю, да она мне — для горя, а не для того, чтобы горе — горем бить. С тем, кто убил Алексеюшку, девкин плач расписывался и сейчас живет, и такой судьбы с нее предостаточно. Только передала ей через соседей — пусть близко мимо меня не ходят, я-то не скажу и не трону, а глаз, хоть и во крещеном лбу, нечаянно от меня может ожечь. Я тебе их не назову, глаз твой, как мой, для порчи негодильный, да думать станешь, а ты отдыхай.

Подивилась бы тетя Дюня, заслышав, куда «незнамо где, аж в самой Москве», скрывается солнце, у нее заходившее за «озор». Также говорила: «Из твоей светелки — большой озор, удобно тебе луну сторожить».

Сегодня утром думала я вот о чем.

Много, теперь не подсчитать без ошибки — сколько лет прошло с гибели Алексея, так и не дожившего до говоримого отчества и до новоселья в ожидающей избе, когда в очередной раз гостили мы у тети Дюни. Борис нашел писанный мною текст, думала: краткого письма, но, судя по отсутствию знаков препинания и даты, — пространной телеграммы. Переписываю не по-телеграфному: «161120 Вологодская область, Кирилловский район, п/о Ферапонтово, деревня Усково, Андронову Николаю Ивановичу. Дорогие Коля и Наташа, так захотелось провести Вас и Ваши места, что даже грустно стало. Не может ли быть такого счастья, чтобы тетя Дюня снова приютила нас вместе с детьми? Вы, так или иначе, кланяйтесь ей от нас и пошлите нам весточку. (Обратный адрес Мастерской.) Целуем Вас. Ваша Б.А.».

Сомнения наши могли относиться к возможному пребыванию у тети Дюни череповецких внуков и нашему опасению стеснить ее, перелюднить избу. С внуками, этими и другими, в тот ли, в другой ли раз, мы совпадали, но бабушка помещала молодежь на сеновале.

Получив радостный пригласительный ответ, мы поехали.

Шла афганская война, уже большой кровью омывшая Вологдину.

В январе 1980 года я была на полулегальных, вскоре вовсе запрещенных, гастролях в Ташкенте и Алма-Ате (Алма-Аты). Сразу после начала войны в Среднюю Азию, разрывая и убивая сердце, прибывали закрытые и цинком покрытые гробы, Сахаров был вы-

слан в Горький, что утяжелило жизнь, но облегчило написание моего заявления в его защиту.

Жили мы, уже не в первый раз, а по-свойски, у тети Дюни. Както, украдкой от хозяйки, пришла ко мне хорошая знакомая, молодая (около сорока лет) доярка Катька и говорит: «Дай-ка мне, Белка, винца, пока Шурка не заявился. Только не за твое и не за коровье здоровье я выпью, а за упокой убиенного раба Божия Евгения, преставленного недавно, а точно когда: неизвестно, и он ли во гробе — тоже неизвестно, мать на нем без памяти лежит, пойдй завтра со мной на похороны и на поминки, не робей, ты — своя девка».

Одна тетя Дюня звала меня: Беля, близкие деревенские (и другие) знакомцы — Белкой, прочие — уважительно, без имени. В другие случаи Катька предлагала такой тост: «Да здравствуют Катька и ее коровы!».

На следующий день, вместе с Катькой и Колей Андроновым, Борис и я пошли в Ферапонтово на похороны.

Прошлой ночью я вспомнила, что описание этого события есть в моей книге (1997 год). Привожу цитату, начало которой завершительно относится к моему выступлению в клубе одной из воинских частей Алма-Аты. Простуженные, плохо обмундированные (слово неверное) дети, в отличие от меня, смутно догадывались, куда их направляют, «...все мне рассеянно улыбались, никто меня не слушал: офицеры были серьезны и напряжены, солдаты — отчаянно возбуждены и веселы. Я спросила светлого синеглазого мальчика: откуда родом? «Новгородские мы, — ответил он смеясь, — два месяца осталось служить». Воротничок его был расстегнут, бляха ремня сбилась на худенькое бедро. Он радостно прошептал мне в ухо: «Нам всем вина дали — вдосталь, ночью куда-то переводят, но говорить об этом нельзя, не велено». Я обняла его, слезы крупно лились, падали на его разгоряченное лицо... Шел снег, снежки летали, кто-то начал и бросил строить снежную бабу. Мальчик утешал меня, с удивлением, но уже и с тайной тревогой: «Что это вы, не надо, это — долг, это — за родину». — «Новгород твоя родина, дай-то Бог тебе ее увидеть». Меня окликнули — мягко, без осуждения, — я вернулась в помещение. Солдатам приказали снять шапки и шинели, было мрачно, холодно, все они кашляли, заглушая ладонями рты и бронхи. Я тоже сняла шапку и пальто, мелким и жалким помнится мне этот жест единения с теми, кого напрямую из своих ра-

зомкнутых рук отпускала я на погибель. Много позже, в Ферাপонтово, я и Борис видели похороны вологодского мальчика Жени. Мать его, беспмятно стоя над непроницаемым, одетым в кумач гробом, издавала недрами муки ровный непрестанный звук крика. Ее одернули: «Мамаша, обождите убиваться, военком будет говорить». Мать умолкла. Военком с хладнокровным пафосом говорил о покойном, что он — герой и погиб за родину. «Вон она — Женькина родина», — сказал подвыпивший мужичок, указав рукой на кротко мерцающее озеро, на малую деревеньку на берегу, скорбные и дивные это места. «Тише ты», — цыкнула на мужика жена, опасливо поглядывая на нас, чужаков, и на милицию, во множестве надзирающую за бедной церемонией. Через год я с трудом нашла на окраине кладбища заросший безымянный холмик, видно, и жизнь матери иссякла вместе с жизнью сына, некому было присмотреть за могилкой».

Сейчас (сей — пятый) прибавляю к опубликованному тексту, что Катька помнила, как Женья родился, тогда она была ровесницей столь мало жившего, безвинно погибшего и неправедно погребенного человека. О том, какой Женья был добрый и способный мальчик, говорила его совсем недавняя плачущая учительница. Многие слезы присутствующей округи, вообще-то дозволенные и извиняемые, бдительными надзирателями заметно не одобрялись. Исполнявшие погребальные залпы солдаты, по возрасту такие же дети, как убиенный, но, судя по скулам и затаенному узкоглазию, все были родом из Средней Азии. В этом невнятно прочитывалась какая-то глупая преднамеренность, возможно, схожая со сподручным, но опрометчивым выбором, множественно бросившим азиатских уроженцев, оснащенных мусульманской кровью, на службу в северные губернии России, а вологодских мальчиков — на юг, в начальное пекло гибельной войны. При домашнем, в полдня и ночь, прощании матери с невидимым сыном присутствовал покурывающий на крыльце страж.

Искренне сострадающие, но сторонние все-таки люди, на поминки, устроенные военкоматом за счет смертоносной власти, мы не пошли, а выпили дома, уже при Шурке. К этому времени я привыкла к ежевечернему Шуркину приветствию: «Здорово, мать, это я, Шурка, ты не подохла еще?» — «Сынок, батюшка, — безгневно отвечала тетя Дюня, — ты бы хоть гостей посовестился, ведь ты их

припиватель-прикушиватель». При этом Шурка мать, несомненно, любил, а со мной быстро сдружился, изъясняя расположение собственным, ехидно-заковыристым, способом. При первой встрече, услышав мое имя, задорно и надменно спросил: «Это как у Лермонтова или как у евреев?» Дивясь его учености, я любезно сказала: «По вашему усмотрению зовите. Садитесь, пожалуйста, если матушка вам позволит». Шурка уселся: «А на что мне ее позволение, если я с ее соизволения в этой избе родился? И ты не приглашай, гость — человек заезжий да проезжий, на время приبلудный». За все долгое время нашего знакомства я на него ни разу не обиделась, а пререкалась с ним часто. Это ему нравилось. Кажется, что совсем недавно передавал через Колю: «Скажи Белке: «Пьянство стало дорогое, я от безделья дом построил, пусть хоть всегда живет».

Вечером того похоронного дня Шурка закатился поздно, простительно веселый: «Здорово, мать, пришел поминать», — тетя Дюня откликнулась: «Шея с помина, а надо и помимо». Они часто и легко говорили в рифму, для смеху и я к ним иногда подлаживалась.

Помянули убиенного Женю, все мальчишество которого Шурка тоже знал наизусть. Тетя Дюня только слегка омочила сухие губы, ушла в печаль: «Правильной войны нет, ее для смерти и делают...» Она, конечно, переместилась в думу о Лексеюшке, заупокойной головушке.

В то же или в близкое время подвозили мы от Ферапонтова к Ускову, извиристо огибая дождевую дорожную хлябь, незнакомо, отчужденно неразговорчивого парня — направлялся к дружку, с которым вместе служил. «Не с Афганской ли войны? — спросила я в плохом предчувствии. «Так точно», — мрачно отвечал он.

Машина увязала, Борис и нечаянный седок выходили — вытягивать и толкать. Видимо, общие действия сблизили пассажира со вспомогательными попутчиками, которым и он помогал, и он проговорился: «Нас было тысяча человек вологодского десанта, осталось несколько, все — увечные или навсегда ненормальные. И мы с другом такие. Вот, хмеля ему везу», — он позвякал сумкой. В начале деревни простились.

По этой дороге едва ли не каждый день ходили мы в Ферапонтово. Внизу — нежно-суровое озеро, среди которого высился когда-

то крест одинокого отлученного Никона, прибрежные камушки, которые избирательно толок Дионисий для своих красок, а сыновья левкасили стены, он учил их быть не хуже себя, они, должно быть, отвечали: «Нет, батюшка, мы не посмеем».

На возвышении — меньший и больший входы в ограду Монастыря (вход и въезд), два возглавия надвратной церкви. (Борис подошел и нарисовал карандашом.) В соборе Рождества Богородицы шла тогда реставрация, Борис трепетал за Дионисия, музейные служители, по призванию близкие священнослужителям, его утешали. Главная из них, Марина, разрешала нам подниматься по лесам. Приходилось охорашивать душу, хотя бы на время, по высокой опрятности, Дионисий с сыновьями любовно содействовали. Невероятно и непостижимо виделись из близости чудные, словно нерукотворные, деяния Мастера и родных подмастерьий. До лика Спасителя не добирались. Осторожно спускались, минуя и усваивая небесные и околонебесные, озерные и приозерные цвета и оттенки настенной росписи. В монастырских пределах и вовне Борис рисовал акварелью. Иногда шел дождь: «аква» удваивалась, красиво и расплывчато множилась. Пейзажи остались, я попросила Бориса привезти из Мастерской: «Помнишь, как вы рисовали вдвоем с дождем?»

Я много ходила по кладбищу, навещала могилы, родные и косвенно родственные тете Дюне, потом — и мальчика Жени, все более зараставшую.

Монастырь строился и достраивался в конце пятнадцатого столетия, прочно стоял и белел до сокрушительного двадцатого, этим годом кончающегося. «Переживет мой век забвенный...»

Однажды, по долго сдерживаемой просьбе тети Дюни, повезли мы ее на кладбище, она долго готовилась, прибиралась, меняла платок, сильно волновалась. Остановилась на том месте дороги, где в последний раз увидела она младшего сына. И нам было тяжело. Боря ласково протянул на ладони валидол. «Что ты, Боренька, спасибо, не надо снадобья, дай тосковать».

На кладбище проводали только Алексея Кузьмича, при жизни так и не званного, и Кузьму, до старости званного вкратце: «Аж до предконца моложавился, зипун за кафтан выдавал, так и до савана дошло...» — все это и многое другое говорено было не там, конечно, а в наших домашних посиделках. Пока тетя Дюня шепталась со своими любимыми, целовала их поверх земли, мы стояли в отдале-

ные. До родительских могил тетя Дюня ослабела идти, да и знала, что они только у нее в незабвенье, у всех других — в запустенье. Шурка говорил, что давно уж, но навещал двух дедов, двух бабок. Тетя Дюня не поддакивала: «Внук у них большой вырос, а навиранье его — еще больше».

На обратном пути, на смертном Алешином месте, мать попросилась выйти из машины, обняла, перекрестила землю.

Без большого значения вспомнила две свои строчки: «...вообще наш люд настроен рукопашно, хоть и живет смиренных далей средь». По возвращении домой хозяйка встрепенулась, оживилась: «Что это, Беля, я весь твой отдых испечалила! Несите, парень и девка, мужик и баба, воду с озера!» Озерная вода надобилась для баньки, для долгого самовара.

Как-то приехала к тете Дюне старшая внучка с мужем. Наши ночлеги переместились на сеновал. Однажды ночью по крыше приятно шелестел дождь, но и внятно бубнил по мутному полиэтиленовому настелю, которым мы покрылись поверх одеяла. В старом сене, припасенном лишь для прокорму привычки, шуршала, поскрипывала, попискивала малая ночная жизнь. Внизу дрались на топорах Шурка с сыном и взывала к нашему верху тетя Дюня: «Боря, Беля, опять распря, идите разымать!» Мы не могли спуститься: мы слушали, как по радиостанции «Свобода» близко и печально говорит Жора Владимов. Года за два до этого следователь Губинский, с особенным усердием служивший Владимовым, назвал точную дату намеченного ареста: 17 января. В отчаянье писала я главному тогда Андропову: «Нижайше, как и подобает просителю, прошу Вас...» — ответ был, если можно так сказать, «положительный». Жора долго тянул с отъездом, мы за него боялись. И вот теперь его вдумчивый родной голос говорил с нашим сеновалом из цветущего Франкфурта-на-Майне. Я искренне вздохнула: «Бедный, бедный Жора, ведь он мог быть вместе с нами». Эти задушевные слова стали нашей домашней поговоркой на многие случаи жизни.

Про «большинский народ», пошедший от тети Дюни, не касаясь последних не известных мне поколений, думалось так. Генеалогия древнего крестьянского рода достигла в образе тети Дюни последнего совершенства и затем стала клониться к упадку, соответствующему разгрому церковей, войнам, колхозному и общему гнету. Ее говор был много обильней и объемней моей бедной передачи,

с изъятиями и приправами собственного акцента. Но я не притворяюсь перед бумагой, как и в деревне была — какая есть, за что, может быть, снисходительно-милостиво относились ко мне местные и окрестные жители.

Про бесполезность притворства доводилось мне помышлять и рассказывать по такому поводу. Как-то заявила к нам веселая Катька и стала заманивать меня в близкий колхозный коровник, пошла с нами и Дюня. Для смеху замечу, что мои ладные, долго служившие «джинсовые» сапожки с удивлением погрузились в глубокую настоянную грязь. Катька стала меня дразнить и учить: «Давай, Белка, дои корову, на такое простое дело должно хватить и московского ума». Вопреки себе и праведному животному, я вымыла руки, робко взялась за выменные сосцы. Диким, безумным глазом испуга и недоумения оглянулась отпрянувшая корова на неуклюжего пришельца. Тетя Дюня засмеялась, помолодела, присела на скамеечку и, скрывая утомление, опорожнила молочную тяжесть в большую половину ведра. Пальцы ее, покореженные земными трудами и ревматизмом, были длинные, сноровистые, не зазря присудили ей «грамотку» за тонкое изящество рукоделий. Слово «изысканность» для меня очень применимо ко всей стати облика тети Дюни: узкому, стройному лицу, тонким запястьям, хрупкому, уже согбенному стану, кротко-гордой и независимой повадке.

Я писала, что могу применить слово «изысканность» к прозрачному и непростому образу тети Дюни, — им как бы завершался ее благой, незамутненный, древний крестьянский род. Следующие поколения, по-своему примечательные, яркие, но тускнеющие, имели в себе, по сравнению с предками, явные черты упадка, не хочу и не смею употребить слово «вырождение».

Про младшего, любимейшего, погибшего сына Алексея уже писано мною, и едва ли не каждый день, при двух кратких слезинках, было тетей Дюней мне говорено. Добрый, доверчивый, простодушный, он один, по воспоминаниям и лучистому портрету, светло противостоял значению нежелательного слова, но вот и оказался «не жилец», был коварно убит и найден на снежной дороге.

Старший сын Николай родился и рос в тяжкие и страшные годы гражданской войны и коллективизации, но к угрюмости, в которой я его застала, готовился словно с утробного изначалья и копил ее по мере жизни. Он был судим за покушение на жизнь и чу-

жое имущество, может быть, и не вполне справедливо, но срок отбыл полностью, в тюрьме и лагере. В темную эту историю я, из осторожности и жалости к его матери, не вникала, но в знакомстве с ним и его семейством состояла весьма пристально. Добротная его изба помещалась ровно напротив материнской, через улочку, на берегу озера. Он был давно и прочно женат, выбрав супружницу себе под стать: тяжеловесную, ловкую и неприветливую. Переиначить пословицу: «каков Ананья, такова у него и Маланья» — на «Николашку и его милашку» никак не выходило ввиду суровой солидности нелюдимой пары. Имелся, надеюсь, и теперь здравствующий, молодой, уже женатый сын с ребенком, тогда маленьким. Мы жалели тихую, больную их сноху и невестку, с отечными, опухшими ногами, возили ее в горестную Кирилловскую больницу. Огород и хозяйство, по тем местам, — хорошие: корова, овцы, птица, собака на жестокой привязи — для лютости, нарушаемой моими угощениями и ласками. Из всего этого родственного соседства с тетей Дюней сообщались только внук, забегавший к бабке попросить того-сего у ее скудости, и овцы, с блеянием вламывающиеся в ее худой как бы не-огород: слабые грядки с порушенной изгородью. Ни сам Николай, ни жена его Нина к матери и свекрови, ни они к ним никогда не ходили. Я брала у них молоко — в очередь с Шуркой, на чьей живописной рыжей (в соответствии с прозвищем) личности я остановлюсь не однажды.

Николай Кузьмич имел к моей заезжей персоне заметный, мрачно скрываемый, ехидный интерес, который, с допуском натяжки, можно было бы даже считать расположением. Во всяком случае, отклонение от сугубо непреклонного характера мной ощущалось и хаживала я к ним безбоязненно. Икон в избе не было, хотя ин открыто в Бога не верил. Вина не пил, не курил, не сквернословил. Исподлобный его взгляд тоже был очень цепкий и зоркий: и по-деревенски, и по-арестантски. Сидевший по уголовной линии, он, кажется, смутно соотносил разные мои суждения с известной ему 58-й статьей, что несколько смягчало его пронизательный хмурый взор. Он неизменно указывал мне, в виде исключения, на лавку и начинал беседу с иронического и презрительного посвящения Москве, что меня нимало не обижало, сначала — к его удивлению, потом — к раздражению, впоследствии — к удовольствию. Власть он впрямую не упоминал, и близко не подходил к опасной

теме, с детства привыкший никому не верить, но мы, хоть и московские простофили, тоже не лыком шиты. Он с удовлетворением замечал, что раскулачивание, тюрьма и прочие бедствия для меня — не пустая наслышка, а живое больное место. С братом Шуркой он не общался и мою с ним дружбу презирал как изъян и городскую придурь. Сыновья Николая и Шурки, Колька и Сережка, схоже ладные, здоровые, уже вполне сведущие в хмеле, ребята родственно братались и дрались, ко мне относились с приязнью.

Шуркина жена Зинаида, уставшая бороться с его пьянством, сама повадилась выпивать и, по мере сил, участвовать в семейных баталиях. Мои строчки из тарусского стихотворения и там были совершенно уместны: «Вообще, наш люд настроен рукопашно,/ хоть и живет смиренных далей средь». У Шурки и Зинки тоже была корова с объемистым к вечеру выменем. Роднило братьев то обстоятельство, что ни у того, ни у другого мать молока не брала. Поначалу я думала, что маленькая, невесомая тетя Дюня, привыкшая очень мало есть, блюдет постоянный суровый пост, но вскоре заметила, что она украдкой ходит куда-то с граненым стаканом и у дальней соседки наполняет его молоком. Только потом, когда неимоверная ее щепетильность, близким полным родством, свылась и сплотилась с нами, она милостиво и любовно перестала считаться с как бы не своей, гостевой снедью, и стол наш стал общий, обильный и счастливый: с простоквашей и творогом, с топленым в печке молоком и кашей, с лепешками и пирогами. Однажды, при нашем отъезде в Москву, тетя Дюня и я плакали, машина двинулась, и Борис увидел в зеркальце, что она машет рукой. Мы вернулись. Оказалось, что прощальный ржаной рыбный пирог, в печальной суматохе прощания, остался лежать на заднем крыле автомобиля.

Я пишу это и плачу.

Шуркина изба накоротке соседствовала с материнской — ежевечерние визиты, с громогласным грубым приветствием из сеней, были незатруднительны. В ответ на мои укоризны он заявил: «Ты, Белка, не знаешь того, что она все сердце на Лешку истратила, для меня мало осталось, а Кольку и вовсе любить не за что». Повторяю, что в его тайной нежности к матери я не сомневалась. Забегал он и днем: выпрашивал у нее «бражки», которую тетя Дюня изготавливала из черных сухарей, привозимых нами дрожжей и еще из чего-то. При

всем нашем обожании к хозяйке Борис к этому напитку привыкнуть не мог, и за ужином они с Шуркой выпивали сельповскую водку. Для веселого обману мать подсовывала сыну озерного питья, приговаривая: «Чай, не боярского рода — выпьешь и воду». В долгое последнее время я присвоила это присловье. Шурка кривился: «Не могу такую крепость потреблять, не зря на лягушках веками настаивалась. Плесни-ка мне, Борис, послабже да послаще, глотнем за мамкину жадность». Как бумаге уже известно, он с грудного возраста весело страдал неутолимым «недопоем». Шурка уважал и слушался Колю Андронову, весьма считался с Борисом, со мною задорно и снисходительно дружил. Но был у него ближе и дороже всех неразрывный друг — тоже Шурка, по безотцовщине и покойной матери называемый: Еленчик. Этот второй был милостивый, смирный, застенчивый, но буянства нашего огнистого Шурки хватало на двоих. Они неразлучно плотничали, колобродили, рыбачили, парились в бане, фыркали в озере и так и славились на всю округу: Шурка-Рыжий и Шурка-Еленчик. Круглый сирота Еленчик был холост и только в Рыжем тезке имел задушевного вождя и опору.

Заметно было, что великодушная тетя Дюня, горько ученая долгой вредоносной жизнью, людей сторонилась, гостей не звала и опасалась нашего небогатого московского хлебосољства, обозначенного зазывным настольным огоньком. На этот одинокий приветный зов явился однажды из соседней деревни пожилой, выдавший виды мужик Паня. Снял шапку: «Здорово, кума, пришел до твоего ума. Наше вам почтение, москвиты, слыхивал, что вы мозговиты. На одной земле — как в одном селе, в родстве-косине — все вода на киселе. Ну, где кисель, там и сел». Тетя Дюня смотрела неодобрительно: «А мне и невдомек, что ты мне куманек. Ближко-то не прикиселивайся: их Москва — не твои места». Мы, для деликатного противовесу, несколько заискивали. Заскочил Шурка. Борис наполнил рюмки. Хозяйка молчала, поджав губы, гостя не потчевала. Шурка веселился, пламеня веснушками, ероша редеющую, сидящую рыжину: «Жалую Паню, эжели спьяну, а был бы тверез — жил бы поврозь».

Когда гость ушел, тетя Дюня сказала: «Плохой Паня, ехидной, он сына-неслуха из ружья удусегубил, для поучения». И закручинилась.

А к ночи тетя Дюня говорила: «Задвинь, Бея, затейники, не то опять Паню наманишь».

Очень любила я закатные часы. Солнце садилось за окном «кивотной», с иконами, стены, золотило вмятины старого самовара, играло с цветами, красиво нарисованными масляной краской на печке. Вспоминая бойкого «душегубного» Паню и печальные пышные закаты, я пропустила полночь и зажгла свечи в половине второго часа.

Днем и вечером, следуя движению солнца, мы с Борисом гуляли вдоль озер и полей со стогами, укрепленными посередине шестами, с загонем для грустных ласковых телят, обращавших к нам просительные, мычащие головы. Борис рисовал акварелью, прозрачно родственной этим озерам, полям, недалекой синеве леса. Я собирала цветочки, приносила тете Дюне. Когда мы возвращались, со взгорбий дороги и пригорков виднелся временами Ферাপонтов монастырь.

Послав Лексеюшке неусыпный небесный вздох и две слезинки, тетя Дюня, для моего утешения, успокаивалась, переходила к воспоминаниям молодости, и даже веселью. Много в ней оставалось несбывшейся, неизрасходованной радости, резвости, прыти. Бывало, она заведет:

На полнице две совицы
в лунном зареве... —

а я приговариваю, указывая на нас с нею:

А в светлице две девицы
Разговаривали...

Дюня заливалась девичьим смехом, доставала ветхий батистовый платок, приплясывала:

Ходи, Дюня, хороводь,
не горюй, а греховодь,
одолела меня дума:
была Дюня, стала дура...

Я, подбоченясь, ходила кругом:

Дюня, Дюня, Евдокия,
твои думки не такие:

ты умна и хороша,
снова в девки перешла...

И вместе:

Что за лихо, что за диво
в свете деется:
загуляла, забродила
красна девица...

Разбуженный нашим гамом и плясом, являлся из спаленки Борис, хватался за сонную голову. Тетя Дюня закрывала смех платком, винилась, каялась: «Боренька, батюшка, прости, в церковь-то не хожу, вот бес и проснулся внутри и тебя, голубчика, беспокоил».

Но все это были шалости, озорство, а песни тетя Дюня пела долгие, прекрасные, я их повторить не могу, но протяжная тень их жива в уме и слухе.

Попалась я, девушка, в помчу,
польстилась на приваду-отраву,
как глупая плотица-рыбешечка,
как с матушкой простилась — не помню,
угодила во родню, во ораву,
через год уродила ребеночка.
А чужие люди-то люты,
усадила свекровушка за пряжу,
младенчик колышется в люльке,
а я плачу да слезынки прячу.
Говорил мне тятенька родный:
не ходи, девка, как гриб во кузов.
А батюшка-свекор суровый:
никшни, велит, перед Кузей...

Это «помча» еще водилась в то время как слово и как рыболовная снасть, сеть с «очепом»-перевесом, оба Шурки, Рыжий и Еленчик, ловко управлялись с нею с мостков и с лодки, с «привадой» для добычи. В ловушку для рыбы охотно шли на погибель раки, мы с Борисом ездили по дорожным рытвинам, а то и по дождевой «кислице», в Кириллов, для ловли пива.

Про раков до сих пор не могу вспоминать без ужаса и содрогания. Однажды принесли Шурки целое решето черно-зеленых, тщетно обороняющихся клешнями раков. Рыжий стал меня дразнить: «Вот, Белка, убоишься ты их сварить, куда тебе, госпоже белоручке, покуситься на живую тварь, а кушать не брезгуешь». Я подумала: и то правда, мало ли едала я морских чуд, надо своими грехами питаться. И бросила раков в готовый кипяток. Стыдно было реветь навзрыд, казниться рачьей казнью. Тетя Дюня прижимала мою голову к сострадательному сердцу, всполошилась, причитала: «Ой, Бея, ты сильней убиваешься, чем живешь, уйми душу, им Господь предрек людям в рот идти, с ним спорить нельзя».

В утешение себе вспомню и воспою единственную тети Дюнину живность: поджарого, мускулистого черного кота, состоящего из мощной охотничьей энергии постоянной азартной проголоди. При нас он питался сытно и даже как бы роскошно, но неумоимо мышковал, рыбачил, стрелял глазами по птицам. Тетя Дюня убирала всю снедь на высокую недоступную полку, приговаривая: «Близко молоко, да рыло коротко». Звала его, конечно, как зовут нашего драгоценного любимого друга Аксенова. В тот раз, не дожидаясь моих постыдных рыданий, он выхватил из дырявой тары живого рака, унес на крыльцо и там съел целиком, оставив на ступеньке убедительно наглядное «мокрое место».

Только по рассказам тети Дюни знали мы предшествующую ему долгожительницу кошку: «Этот Васька — зверь дикий, вольнолюбный, не ластится, не мурлычет, никакой власти не терпит. А Мурка-покойница такова была ласкова кошкой, жалела меня: ляжет на грудь, сердце под ней затихнет, не болит, не ноет. Раз поехала я к дочери Верке в Белозерск и забыла ее, грешница, в закрытой избе. Спихватилась, да не пускали меня домой по большому снегу. Мучилась издали ее мукой, зябла по ней под стылым окошком, шти мимо рта шли. Думала: сгубила я свою подружку-мурлычицу, зачтется мне в могилке ее голод-холод. А кошурка-то умней меня оказалась: расковыряла мешок с мучицей, ссухарилась, а спаслась. Жила почти с мое, а пред концом глянула на меня прощально и ушла на укромные зады, не стала мне очи слезить. Я уж потом упокоила ее в земле, посадила ей вербный росток. До погоста мне нет мочи ходить, а до вербочки — нет-нет, да и доковыляю по весне, приласкаю ее кошій дух».

Пришла пора поговорить и про Веру Кузьминичну, про дочку Дюни и Кузи Верку, которую одну из всех детей жалел и баловал строгий отец. Ее малолетству он потакал, носил в кармане липкий леденец, сохлый пряник.

Вера росла крепко-пригожей, здравомысленной, училась хорошо, особенно по арифметике, которая впоследствии и довела ее до большой беды, до магазинной растраты. Она была уже замужем, жила хорошо, имела маленькую дочку, когда предали ее суду, после чего, вослед брату Николаю, отбывала она тюремный и лагерный срок. Мать ее не оправдывала и не винила («Я — не верховная людей судить»), но душою думала, что опутали, отуманили дурную бабу злоумные люди. Навещая горемычную дочь, и увидела тетя Дюня страшно промелькнувшую Москву, показавшуюся ей близким предместьем Того света. Было это, по моим неточным подсчетам, в половине пятидесятых годов. Тогда же, уже во второй раз, с помощью деревенского грамотея, подавала Евдокия Кирилловна прошение «на высочайшее имя». На этот раз на имя Крупской Надежды Константиновны, к тому времени давно покойной и забытой. Самое удивительное, что ответ пришел не быстрый, но опять положительный: Веру освободили досрочно. Благодарная просительница говорила: «Про мужа ее не умею знать, а сама Крупская — женщина сердечная, пожалела меня, безвестную бедовуху».

Маленькую дочку своей несчастливцы-каторжанки взяла себе бабка Дюня, одна питала и растила до ранней взрослости, до возвращения матери из мест заключения. Эта любимая внучка, Валя, вышла замуж подале от семейных бедствий за окраинного москвича, за доброго рабочего человека. Это в честь их недолгого визита ночевали мы с Борисом на дождливом сеновале, пока Шурка с сыном дружелюбили на топорах, а мы слушали близкий голос Жоры Владимова, поступавший в наши сердца из Германии.

Когда гости приехали, мы ненароком увидели их продвижение к бабкиной избе. Перед вступлением в деревню Валя сняла боты и шла по непогожей хляби в белых туфлях на высоких каблуках. Во все окошки смотрели на городское шествие возбужденные деревенские лица. Валя ступала прямо и важно, муж скромно нес сумку с иностранной московской надписью.

Вечером мы дружно ужинали, Шурка, материнскими мольбами, к трапезе допущен не был. Приезжие мне понравились, осо-

бенно простодушный словоохотливый муж. Жена, как подобает горожанке, держалась солидно и несколько отчужденно. Мое нескрываемое пылкое почтение к ее бабушке могло показаться ей приживальской угодливостью, вообще она меня необидно сторонилась, и я не могла попасть в уклюжий, естественный способ краткого общения. Гостили они поспешно и вкратце.

Деревенские, двоюродные друг другу, внуки присутствовали постоянно и были славные ребята, но легкая засень порока, добытая в армии и других отлучках, мглила подчас их свежие молодые черты и урожденные здоровые повадки. Ладила я с ними легко.

Время от времени наезжали с приятелями череповецкие внуки, еще не вступившие «в наусье», с хрипотцою в грубых молодых горлах. Смотрели и говорили они как-то вкось, не желая брать грех на душу, я относилась к своей рассеянности незначительные пропажи сигарет и мелких вещиц, с милого мне сеновала доносилась тихомолка их неумелого сквернословия. Можно было искренне сожалеть о бедной их бессветной юности, но, пожалуй, большее и более — о явленной ею новизне увядания долгого, добротного выпестованного Вологодчиной предыдущего родословия.

Ярче других были помечены порчей другие какие-то непонятные залетные родичи, не здоровавшиеся при встрече, неприкрыто зарившиеся на неопределенную судьбу Алешиной избы, да и на собственные убогие владения, на их недобрый взгляд, назойливо живучей тети Дюни. Эти редкие вторжения омрачали наши дни и весь «озор» человеческого рода, но тетя Дюня противостояла им с непреклонным и даже высокомерным достоинством. По ее, долго таимой, просьбе, относящейся к тоске по дочери и по собственному накопившемуся устремлению, минуя хорошо знакомый Кириллов, отправились мы в древний город Белозерск, озаглавленный и возглавленный обширным чудом великого Белого озера. Родилась я в белокаменном граде Москве, в нем росла, в него проросла, а спроси меня где-нибудь в чужой стороне о родине, пожалуй, прежде, чем темные белые камни, увижу я темные белые воды, благородную суровость, высокородную печаль.

Скажу только кончающейся странице, что наполненные и увеличенные озером зрачки ослепли от золотого зарева церковного иконостаса во много рядов, заслонившего и уменьшившего про-

чие белозерские впечатления. При виде сохранившихся домов и городских усадеб Борис опять вспоминал италийского Палладио, наивно отразившегося в колоннах, фронтонах и портиках самобытных русских строений.

Озеро, церковь, влиятельный итальянец поместили нас в приятный отпуск из современного захудания и разора.

Веру мы застали в осторожный распloch, «невознатьи», как говаривала ее матушка, но в опрятном доме, при обильном самоваре, при скатерках и салфетках с вазонами и безделушками, соленные волнушки от Дюни в гостинец привезли, бутылку сами купили, посидели в довольстве и покое. Только напряженный, сметливый хозяйкин взгляд выдавал большой опыт ее многознающей доли. Благоприятные сведения о матери, братьях, московских дочери и зяте выслушала она с наружным доброжелательным спокойствием, но привычка наглухо скрывать сильные чувства была заметна и красила ее в наших глазах.

Признаю, что поразивший меня Белозерск описан плохо, словно обобран, но доклад, доставленный тете Дюне, был подробный, красочный и утешительный.

Вспомнила я один жаркий деревенский день. Я с удовольствием плавала в озере, обнимая и прихлебывая прозрачную воду. Шурка, оранжевый на солнопеке, добродушноничал на берегу, что я мешаю рыбе сосредоточиться на скорой поимке: он выкапывал возле вражеских братниных угодий «приваду»: «Этому скареду и червя лучше засолить, чем братцу отдать, вот ты к ним льнешь, их невкусицу знаешь».

«Экая загрева, — заметила тетя Дюня, когда я пришла домой с озерной водой в двух ведрах, — «нетники» большого солнца не любят, разве что «шутовки», при водяном хороводные девки». Я уж знала, что «нетчики» — это отсутствующие, отлучные, а вот с присутствием «нетников» постоянно приходится считаться: это — разного рода нежить, нечисть, благодушно-игривая или коварная, вредительная. Про нее-то и пошел у нас разговор.

Тетя Дюня подумала, посчитала по пальцам дни, сверилась с тайными знаниями и приметами и так порешила: «Готовься, Бея, не бояться, надо тебе в полночный час Домового показать. Мой-то — худой бедяга, сараешник, его можно в ночь на Светлое Воскресенье застать, и то не всегда. При Кузе его дедушка в конюшне

жил, любил с лошадиными гривами баловать, да и его не пожалели, раскулачили вместе с конями, а заодно и та пала, что молоко давала. Ох, смертное горе, одно на всех: и людям, и животине хватило. А пойдем мы с тобой ближе к полунощи в Шуркин хлев, корова не выдаст, она меня больше Зинки жалует». Важную нашу затею утаили мы даже от Бориса, волновались, шептались, даже принарядились в угоду Хозяину. Еще в начале нашей дружбы спрашивала я тетю Дюню про холодные зимы, про дрова, про воду. На сыновей надежды не было, а после печального случая с кошкой мать к Вере зимовать не ездила. Она смеялась: «А что нам! Нас мороз нянчил. Шубы нет — палка греет». Я привезла ей свою старую шубейку, еще ничего, теплую. Тетя Дюня ее полюбила, надевала и в летние прохладные вечера, покрывала ею дрему и сон. Красовалась: «Эка я моничка-щеголиха!» Мы снаряжались, тетя Дюня меня наставляла: «Ты особо-то не кудрявься, повяжись моим старушым платком, перед Ним басы нельзя разводить».

Весь поздний вечер мы с тетей Дюней шушукались, Борис лег спать.

Близко к полуночи тихохонько подкрались к спящему Шуркину дому, тетя Дюня просунула тонкую руку в секретное от чужих отверстие, мы протиснулись в коровье обиталище. Корова мыкнула было в удивлении, но от знакомого шепота успокоилась. «Истёшенько», как тетя Дюня, говорю: я ощущала значительность момента с большим волнением. Было совершенно темно, чуть светилось белое коровье ожерелье. Наученная провожатой, смотрела я в дальний угол, пока как бы пустой. Тетя Дюня держала меня за руку, наши пульсы разнобойно трепетали. Понятно было, что урочный час еще не наступил. Но вот что-то зашевелилось, закосматилось в углу — сплошной и темней темноты, из пропасти недр, не знаемых человеком, раздался глухой протяжный вздох: «Ох-хо-хо-о...». Последнее заунывное «о» еще висело в душном воздухе, когда мы, по уговору, бросились наутек — чтобы не прогневить полночного властелина лишней развязной докукой. Вомчались в избу, сели к печке, не зажигая света. «Ну, видела, — отдышавшись, сказала тетя Дюня, — а теперь забудь. Он, в отместку за погляденье, отшибает людскую память, чтобы не было о Нем пустого слуху, новый-то народ не чтит его, облихует, опорочит ни за что, ни про что, а он горланов не любит, беспременно накажет». Я призадумалась: «Тетя Дю-

ня, давайте у него прощения просить. Но, вообще-то, он мне хорошим показался, милостивым». «Это — по его выбору, а прощения давай просить», — и она стала креститься на иконы. Я вот — не была, а проговариваюсь с почтительной опаской, поглядываю на свечу, на лампадку возле иконки.

На следующий день после ночного похождения тетя Дюня истопила мне баньку, хоть и там предполагался незримый ночной насельник: «баешник». Я никакой бани не люблю, а тою, деревенской, еще Кузеею строенной, наслаждалась, особенно — ныряя в озеро с горячего полка. Тетя Дюня в жизни и речах была очень целомудренна, в спальню, на случай переодевания, без стука не входила, в парильное дело не вмешивалась, никаких предложений, вроде: «спинку потереть», за ней не водилось.

Но самое мое сокровенное блаженство заключалось в верхней светелке, считавшейся как бы моим владеньем. Ход в нее был через сеновал, по ветхой лесенке. Убранство ее состояло из старой трудолюбивой прялки, шаткого дощатого стола, сооруженного Борисом, занесенного наверх самодельного стула, покрытого рядном. На столе — глиняный кувшин с полевыми цветами, свеча — не для прихоти, а по прямой необходимости. Во все окно с резным наличником — озеро. Прилежные мои занятия сводились к созерцанию озера и по ночам — луны, продвигающейся слева направо, вдоль озера и дальнейших озер. Свеча горела, бумага и перо возлежали в неприкосновенности. Испытывая непрестанное сосредоточенное волнение, я ничего не писала, словно терпела какую-то крайне важную тайну, не предаваемую огласке. Ощущения безделья не было — напротив, участие в ходе луны и неботечных созвездий казалось ответственным напряженным трудом на посту у вселенной. Извлекла из памяти никчемный сор сочиненных в ранней юности строк: «Хворая головокруженьем и заблуждением ума, я полагала, что движеньем всеми ведаю сама». Самоуверенные эти словечки лишь очень приблизительно соответствовали занимаемой мною высокой светелочной должности — в глуши веков, вблизи отверстого мироздания.

Возвращаюсь в мою возлюбленную светелку, к самой большой и властительной луне из всех мною виданных, удвоенной озером. А сколько ночей провела я у нее в почетном карауле, и всегда мне казалось, что луна возвращает мне взор Пушкина, когда-то воспринятый и вобранный ею.

Стоит мне прикрыть глаза, как ноздри легко воскрешают запах прелого сена и полевых цветов, в которые я окунала лицо, голубое от луны, розовое от свечи, волновавшей бессонницу деревенских старух, издалека видной округе.

Когда, созревши на востоке,
луна над озером плыла,
все содержание светелки
и было — полная луна.
Прислуживавший горним высям,
живущий на луне зрачок
с луны мою светелку видел,
а до меня — не снизошел.
Он пренебрег моей деталью,
переселившись в лунный свет.
Жалеть, что, как свеча дотаю,
у вечности — мгновенья нет.

Тете Дюне уже трудно было воздыматься на вершину избы, но отыщет она какую-нибудь живую вещь из милой рухляди и ветоши — подаст мне: «Тащи, Беля, к себе на свечную гору, ты любишь». С гордостью могу заметить, что кот Василий, не поступаясь независимым и неподкупным нравом, закахивал ко мне наверх, глядел внимательным прищуром, без одобрения.

«Ты у меня, Беля, верхний жилец, повадный летатель, — говорила Дюня, — пригодился теремок твоим летасам (мечтаньям)». Так оно и было. Я вдохновенно и торжественно ничего не писала, весь мой слух был занят реченьями тети Дюни, воспоминаниями, песнями, которых не певала она с молодых лет. Сама она, по мужу, была Лебедева, и лебеди часто главенствовали в наших вечерах, вторить их воспеванию я могу лишь приблизительно, бедно.

Лебедь белая над езером кичет,
друга любезного кличет,
у той у лебедушки — беда лепота,
а у меня, у молодухи, — беда-лебеда.
Дождалась лебедушка лебедина,
суженого господина,

а я перед свекровушкой лебезила,
да лишь досадила;
грибник мой кислый да тонкой,
а меня прозвала домоторкой.
Лебедин подруженьку холит,
не бедует с лебедушкой любимой.
А по берегу ходит охотник
до гибели лютой лебединой.
Оскудела, опустела водица,
стала лебедица вдовица...

Я спрашивала тетю Дюню: правда ли, что сурова была ее свекровь? кто это — «домоторка»? «Известно, кто, — объясняла она, — бедоноша, бедняха, бедяжная прикушивательница, побируха, чтоб тебе вразумительней было, их много после веролютя по домам торкалось».

Холодком ожигало меня «веролютное» обилие бедственных произрастаний в русской жизни и словесности. Про покойницу-свекровь старая ее невестка улыбалась: «Да нет, это больше по-песенному такое прилыганье выходит. Кузина матушка, как и по закону положено, строгая была, но меня жалела, собой заслоняла от сыновьего гнева. Он, смолоду, до ужаста ревнивый был, хоть я и глянуть не смела, что пол-людского роду — бородато да усато. Побелеет глазами и грозит: знай веретено да полбу, не то схлопочешь по лбу. Глаз не подымала — а схлопатывала, за посторонний призор за моей пригожестью». В этом месте памяти рассказчица несколько гордилась и приосанивалась, и я читала сквозь морщины ее стройно-овального, изящно сужающегося к подбородку лица свежую былую приглядность. «Да, жалела, и пироги мои, и грибки, и капустники, а особо — рыбки, едала с хвалебностью. Даривала мне свои прикрасы, да все — или роздано, или отнято. Вот, Бея, присудила я тебе остаточную низку, от большой шейной вязки, и ты мне не некай, возьми памятку». Маленькую нитку бисерного речного жемчуга я храню.

А я опять вспомнила «нетников». За избами тети Дюни и Шурки начиналось поле, где однажды, с Колей Андроновым, Наташей Егоршиной и с детьми, запускали мы «летушку» — воздушного змея. С ночною грустью вижу я погожий, ведреный и ветреный

день нашего веселья. Присутствовавший при параде Рыжий Шурка, по своему обычаю, ерничал, «кудасничал»: «Эх вы, недотепы залетные, привыкли, что вас летчики по небу возят, вами начальство верховодит, а вы потеху по верху водить не умеете». Тетя Дюня радовалась вместе с нами: «Вам нельзя его видеть, а «Полевому» — все лязя, небось, дивуется на вашу забаву». Про этого невидимого обитателя полей было известно, что он благодушен и склонен к соглашательству и с Домовым, и с Лешим, враждующими меж собою. Про «Лесного дядю», «лесовика» сведения были не такие благоприятные. Тетя Дюня не любила и тревожилась, когда мы ходили в лес, прилегающий к полю. Прежде в лесу водились медведи, лосиные следы мы и сами видели, от Лешего были весьма предостерегаемы: «Рубахи для лесу надевайте изнанью вверх, это — одна от него охрана, иначе его не измините. Вы — мне свои, а на мне — родительское отлученье, он за это к себе берет. А проклятые отцом матерью дети — все в его гущобе сгнули. Вид его — лохматый, волоса носит на левый бекрепъ, кафтан застегает — на правый бок. Блудящих тунеядов морочит, может и не отпустить». Послушно побаиваясь, мы в глубину чащи не заходили.

При этом описании все мои огни погасли, я подлила масла в лампадку (светильце со светиленкой, светник с фитилем). Про мою светелочную свечу тетя Дюня всегда справлялась: ясно ли горит? не «пинюгает» ли? Если мерцает и меркнет без причины — к беде.

Надеюсь, что мои свечи догорели справедливо, без дурных предзнаменований. Но присловья не погасли: беда беде потакает, бедой затыкает, таков наш рок — вилами в бок.

Про упомянутый лес Шурка, вертясь передо мною, так меня испытывал: «Докажи, Белка, что не зря тебя наше царство-государство учило-просветляло. Что в лес идет, а на дом глядит, домой идет — по лесу скучает?» Я податливо отвечала: «Куда нам до твоей учености! Сказывай, не томи». Он молча указывал на разгадку: на сподручный топор за поясом, и добавлял: «Да, учили нас крепче вашего, а все не пойму: то ли вы глупые, то ли слепые, у нас — песни, у вас — пенсны, все наши бедовины — от вашей бредовины». И тут, Александр Кузьмич, я с вами совершенно согласная.

Я соотношу первый день марта со своим сюжетом по собственному вольному усмотрению, но все же прочла по молитвеннику: «Упокой, Боже, рабу Твою Евдокию и учини ю в рай, идеже лица

святых, Господи, и праведницы сияют, яко светила, усопшую рабу Твою упокой: презирая ея вся согрешения».

Читая молитвослов, еще раз подивилась обилию Мучеников и Мучениц в русском православии, не говоря уже обо всех неисчислимых страстотерпцах отечественной истории и близких нам дней.

Число дней и, более, ночей, письменно посвященных тете Дюне, приблизительно соответствует времени, проведенном нами в ее избушке: мы бывали у нее редкими и недолгими наездами, обычно около двух недель. Сумма влияния ее образа на мои ум и душу оказалась длительнее и обширнее всех этих урывочных сроков.

Нечаянное свое писание начала я с описания Нил-Сорской пустыни. Вот каково было наше путешествие на самом деле. В очередной раз посетив недалний город Кириллов, снова любовались мы дивным озером и монастырем на его берегу. Кроме сохранившихся красот, имелся там и ресторан, так и называвшийся: «Трапезная», коего были мы едва ли не единственные частые посетители. В тот солнечный и дождливый день мы наведались в милицию — расспросить о маршруте. Скромный суровый чин встретил нас с недоброжелательным подозрением во грехах, вероятно, отчасти нам присущих, проверил водительские права Бориса, но дорогу объяснить туманно отказался. Встреченная старушка ласково и испуганно отговаривала нас от намерения, казавшегося нам безгрешным и усиливавшегося вместе с нарастающей тайной: «Ох, детки, не дело вы задумали, туда хорошего пути нет, подите лучше в магазин, там нынче завоз». В магазине мы и дознались до направления. Мы уж знали, что после «веролютя» обитель стала узилищем, но потом арестанты были перемещены кто в «небелесветие», кто в худшие места, но уцелела надвратная малая церковь с драгоценной росписью. В небесах погромыхивало, дождь, чередовавшийся с яркими просветами, размывал глинистую дорогу в лесную глубь, где когда-то искал святого уединения Пустынник и Бессребреник Нил Сорский. Когда хлябь временно подсыхала, — двигались, когда усугублялась, — дышали густой лесной влагой. В приблизительно середине пути встретились нам сначала одна, потом другая худая лошадь, впряженные в телеги. Поклажу составляли пустые бутылки, возницы и пассажиры были весьма примечательны. По бледным их, добродушным лицам блуждал рассеянный смех, лохмотья легко тяготили их слабую плоть. На наши вопросы они отве-

чали приветливо и невнятно, но взмахами рваных рукавных крыл подтверждали, что едем мы в должную сторону. Сердце, озадаченно и болезненно, сразу же к ним расположилось.

Когда мы достигли, наконец, искомой цели, церковь при входе в бывший маленький монастырь, произросший из Ниловой кельи, оказалась наглухо закрытой, снаружи — трогательной истройной. Нас сразу же окружили обитатели «пустыни», близко схожие со встреченными путниками. Они сбивчиво и восторженно улыбались, лепетали, протягивали к нам просительные руки, в которые ссыпали мы сушки, сигареты и другие мелкие имевшиеся припасы, до неимоверного счастья улаждавшие их детские души, но не могшие утолить их истощенных, светящихся сквозь ветхую одежду, неземных тел. Острог, по мягкости времени, переменился в нестрогую «психушку», относительно вольготную — ввиду смиренного и неопасного слабоумия пациентов, медицинского персонала мы не видели.

Кроткая, блаженная детвора этого народа вызывала неизбывную жалость, любовь, а во мне — и ощущение кровного, терзающего-сострадательного родства.

Леса и озера, разрушенные храмы и тюремные очереди, иконный лик тети Дюни — неполно составляют образ родины без этих незапамятно-юродивых, лунно-беспамятных, смиренных и всепрощающих, дорогих для меня незабвенных лиц.

Когда, более десяти лет назад, умерла тетя Дюня, мы были в Америке и узнали о ее кончине от Коли Андропова с большим и горьким опозданием.

Потом умер Николай, через несколько лет — Еленчик, а затем и милый моей душе, острый на язык и на топор, непутевый Рыжий Шурка.

Нет и Коли Андропова, связавшего нас с теми, для меня опустевшими, прекрасными и скорбными местами.

Ровно пять часов утра, приступаю к моим, пред — нежеланно — сонным, ритуалам, начав их с задувания свечи и лампадки.

Провожая третий день марта, возожгла свечи и лампадку.

Машинка моя отказалась от соучастия в моих занятиях.

Днем я, прозрачно и неуклюже, стала сочинять что-то другое.

Так что — писания мои кончились сами собой: в самом начале дня, в первом его часу.

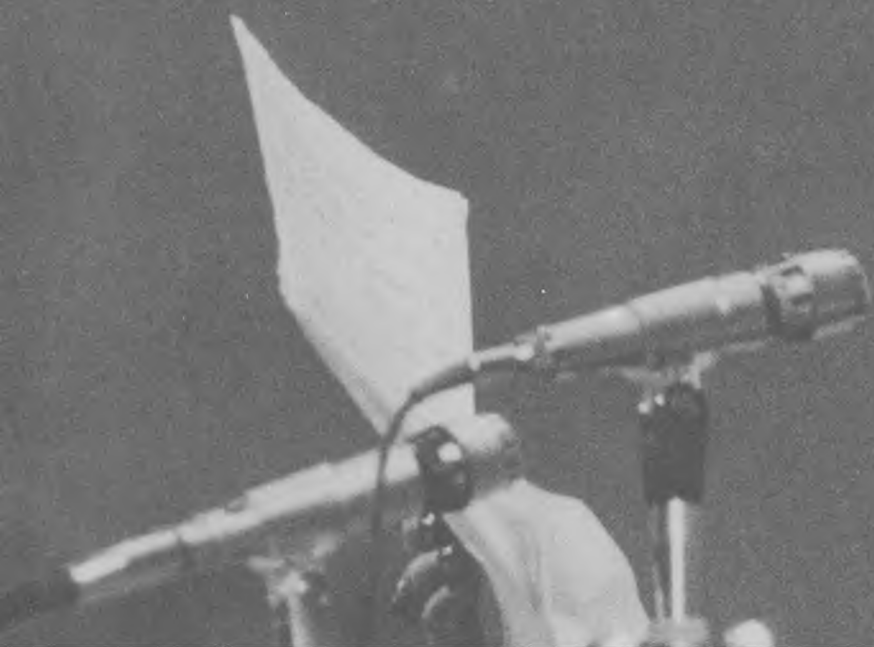
Быть посему.

4 марта 1999 года

































СОДЕРЖАНИЕ

19 октября

5

Наслаждение в Куоккале

29

Глубокий обморок

47

Возле елки

93

Черемуха моя

133

Созерцание
стеклянного шарика

147

Нечаяние

ДНЕВНИК

163

Белла Ахмадулина

НЕЧАЯНИЕ

Редактор *С.Андрусенко*

Художественное оформление *Д.Ершов*

Технический редактор *В.Верейкин*

Корректор *Ю.Сычева*

В издании принимали участие:

А.Безуглый, А.Котухов

Ответственный за выпуск

И.Смолин

По вопросам распространения

обращаться по телефону

(095) 973-25-88

Оптовую продажу книги осуществляет

ООО «Б.С.Г.-ПРЕСС»

г. Москва, ул. Гиляровского, д. 1

тел. 207 53 62

ЛР № 064584 от 14.05.1996 г.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 26.11.99.

Формат 60х90 1/16. ВХИ. Гарнитура «Баскервиль».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,5 + 1,0 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ № 568.

Издательский Дом «Подкова»

121108, Москва, ул. Пивченкова, 3-1.

Отпечатано с готовых диапозитивов

на ГИПП «Уральский рабочий».

620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

П О Д К О В А

1 9 9 9